



Дизайн автора

Вместо предисловия:

Еще не так давно я считал, что этот текст устарел, что он целиком в советском прошлом, которое формировало на свой лад и общество, и отдельную личность. Но теперь вижу, что проблема не исчерпана, и новые игроки играют по тем же, казалось бы, отвергнутым историей правилам.

Этой повестью, помимо того, что она отражает часть моего собственного прошлого, я хотел показать, по крайней мере, две вещи – что в тоталитарной системе нормальный человек испытывает немалые нравственные муки, приспосабливая к ней свое простое человеческое желание жить и дышать полной грудью. А еще — что невозможно сверху, исходя даже из самых благих побуждений, решать человеческие судьбы по пословице «чужую беду руками разведу».

Время, в которое я писал, было еще абсолютно подцензурным, и приходилось изобретать сложные словесные периоды, чтобы закамуфлировать в них «крамолу». Эзопов язык – да, без него было не обойтись: хотя, например, вряд ли теперь кто-нибудь во фразе «и все же не позднее других прочел... об одном дне «Зимы тревоги нашей», уловит намек на запрещенного тогда Солженицына с его лагерной повестью «Один день Ивана Денисовича». Дело в том, что никакого «одного дня» в повести Стейнбека «Зима тревоги нашей» нет и впомяне... Ни редактор, ни цензор намек не уловили, хотя и без того вся книга, куда вошли еще две повести — «Отблески» и «Дирижер» — так бы и не увидела свет, если бы не вовремя подоспевшее подкрепление в виде предисловия, написанного Героем Социалистического Труда, поэтом-фронтовиком Михаилом Александровичем Дудиным, да будет земля ему пухом. Потом эту книгу расхвалит «Комсомольская правда» с тогдашним своим главным редактором Геннадием Селезевым, будущим, а теперь уже прошлым, председателем Госдумы, но это другая история...

В свое время эта повесть наделала шуму в Ленинградской журналистской организации. Кто-то «чисто конкретно» узнал себя, кому-то так показалось. Что ж, совпадения неизбежны, но у меня была другая цель – создать коллективный портрет, где лица родственны по образу и подобию. А если уж говорить о реальных совпадениях, то это прежде всего история с пьесой «Три мешка сорной пшеницы», поставленной на сцене БДТ Георгием Товстоноговым и осужденной обкомом во главе с Григорием Романовым. Товстоногов был благодарен нам за поддержку, однако руководство газеты, дабы избежать кары, предпочло правде публичное покаяние. Впрочем, будем снисходительны — никто не хотел умирать раньше времени.

Осталось еще упомянуть многотиражку «Скороходовский рабочий», с которой для многих из нас все и начиналось... О ней можно прочесть в мемуарно-документальной книге Г. Йоффе «Дети Эзопа...», вышедшей в свет совсем недавно, в 2007 году. Там я обнаружил немало выдержек из своей, казалось бы, забытой повести. Спасибо, Гриша!

1 декабря 2008г., Санкт-Петербург

... Я едва ее узнал. Она сидела в полутьме перед кабинетом врача, одна, нахохлившись, — как смертельно усталая птица, голубь на тротуаре в нише подвального окна, когда он даже не шарахается от ступающих рядом ног, его можно подобрать, отнести домой, накормить — все равно не жилец, кошки таких не трогают — вот так сидела она и, когда я запоздало кивнул ей,

вздрыгнула, с досадой возвращаясь в действительность, и нехотя разомкнула сухие губы. «Здравствуй», — услышал я ее хрипловатый, но неожиданно полный жизни голос.

Я запомнил ее отяжелевшей, с раздутым, плоским лицом, которое из-за нескольких похожих на зоб подбородков стало самодовольным, и вдруг — тень самой себя только глаза в темных провалах глазниц сверкали прежним истовым посверком. Когда-то от ее пронизывающего взгляда никто из нас не мог ни укрыться, ни укрыть то, о чем ненадобно знать другим.

Четверть века назад ей было за тридцать, а нам — кому почти столько же, кому — на пять, десять лет меньше, но все равно она казалась старше нас на целое поколение. Потом я ушел из редакции, но кое-кто из наших еще продолжал с ней работать, пока не остался один Венька, в конце концов пересидевший и ее, чего она ему никогда не простит, как не простит остальных, кто был когда-то с ней рядом, как не простит она и меня...

Вкруг дома хлопья кружат быстро,
И ягод нету ни одной
На тонких ветках остролиста
Вкруг дома. Хлопья кружат, быстро
Стуча в окошко органиста,
Бродившего иной порой
Вкруг дома. Хлопья кружат быстро,
И ягод нету ни одной.

Томас Харди. Птицы в сумерках

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Университет — и сила и слабость нашего города. Гуманитарной интеллигенции у нас некуда деваться — ею забиты не только школы, но и рабочие клубы, Дома культуры, детские сады. Вот почему и наша многотиражка была заполнена кадрами, способными двигать вперед науку, культуру, искусство.

Когда я пришел в газету, Алевтины не было, она отдыхала в Крыму, и делами правил ее зам, Венька, Вениамин Львович, маленький, необычайно живой длиннорукий человек, менявший выражение лица так часто, что только гораздо позднее определилось — какое оно. Он меня и взял, поначалу на договор, с испытательным сроком, хотя вскоре об этом сроке уже никто не вспоминал. Кончалось лето, я только вернулся из армии, где отслужил после университета положенный срок, женился на девушке, которой писал письма и которая меня ждала, прием в аспирантуру был закончен, и мой приятель по филфаку привел меня в редакцию газеты прядильно-ткацкого комбината. Я думал поработать там до весны, но проработал три года, а потом еще три — в газете на несколько порядков выше, пока наконец не вернулся в родные университетские стены на кафедру английской литературы.

Прежде я не публиковался и поначалу был заморожен своей фамилией, набранной полужирным боргесом, — она подпирала так называемую «подпись под клише». На самом клише, то бишь на фотографии, были запечатлены работницы нашего комбината. Фотокорреспондент отснял их с тылу, так, чтобы было понятно, что люди воюют с сорняками, а не прохлаждаются на пленэре, — эту-то позу наш Васенко и демонстрировал теперь разъяренному Вениамину Львовичу. И если б не вечная наша газетная спешка, снова трястись бы незадачливому Васенко в автобусе на заднем сиденье, взрывавшемся на каждой ухабине дорожной пылью. Я еще не знал, что такие подписи под клише, как правило, — бесфамильные и что замредактора только из деликатности или по более тонким соображениям оставил мою фамилию на полосе, и я долго тайком любовался ею, попавшись на крючок авторского тщеславия.

Поездка на подшефные поля вместе с Васенко была для меня необязательной. Мне дали карт-бланш — привезу нечто, могущее стать материалом, — хорошо; не привезу — тоже неплохо, хватит и подписи под клише. Меня изучали — умею ли я откликаться на социальный заказ. А Васенко, оказывается, был поручен фотоочерк, вот почему мы носились с ним по усадьбе подшефного колхоза в поисках объектов для съемок. В редакции смирный, в усадьбе он вдруг вырос на две головы, и сам председатель колхоза выбегал на крыльцо показать ему, где что.

Васенко уже тогда было сильно за сорок, он был плешив, сухощав, с красным в продольных морщинах лицом и отличался необыкновенной прытью. Приходилось чуть ли не бежать за ним. Говорил кратко, отрывисто, не очень внятно, глядя в этот момент на тебя в упор и, как своему, подмигивая.

Мы лезли с ним через пролом в заборе, дули через картофельное поле и через канавы к свинарнику, и Васенко проборматывал на ходу: «Парочку снимков, и точка. И сваливаем. Ты будешь писать, писать будешь? Ничего не сказали, не сказали? Ну ладно, фамилию мою не забудь. Васенко я, Васенко, понял, да? Но не хохол. А тебя, тебя как звать?» И еще долго, несколько месяцев, не мог запомнить.

В первом свинарнике нас ждала неудача. Едва мы, оглушенные вонью, стали привыкать к сумраку и Васенко начал было прикидывать кадры повыигрышной, бросаясь, словно боксер на ринге, влево и вправо, как с другого конца по щиколотку залитого навозом помещения женщина в сером комбинезоне, с усталым, злым лицом напустилась на нас: «И чего вы там рыщете? Сымайте как есть. Назьмо сымайте. Меня в назьме сымайте. Это все... — Она обвела заскорузлой рукавицей неприглядные своды. — А то понаедут, понапишут, тьфу!» — и в сердцах сплюнула.

— Ладно, ладно, ты потише! — уже устремляясь к выходу, обернулся Васенко. — А то скажу, скажу кому надо.

— Не пужай! Не из пужливых! — раздалось нам вслед.

— Уф! — выдохнул он, когда мы выскочили на свет. — Видал? Ну зараза! А это... как его, назьмо. Диалект, что ли?

В соседнем свинарнике нас приняли по приветливей, и одна из дюжих работниц согласилась по просьбе Васенко позировать перед объективом, прижимая к могучей груди огромного, килограммов на сорок, пороса. Васенко щелкал с разных точек раз пять, и все это время она удерживала орущее животное, перехватывая его поудобнее. Снимок этот, самый жуткий, по мнению Вениамина Львовича, за неимением лучших тоже попал в газету, за что потом досталось им обоим от Алевтины.

Словно оправдываясь, что он, филолог-славист, знаток трех языков, вынужден работать в многотиражке, приятель мой Антон с таким восторгом расписывал своих коллег, что, еще не переступив порога редакции, я преисполнился уважения к этому чудо-коллективу. Теперь коллеги возвращались из летних отпусков, и однажды утром, торопясь на работу, я поймал себя на чувстве радостного предвкушения встречи с ними и понял, что в жизни мне повезло.

Редакция занимала две большие комнаты да еще одну маленькую, обитую фланелью в складку, — для машинистки. В главной комнате, кроме редактора и Веньки, сидел Володя Хомяков, ответственный секретарь. Во второй размещались мы со своими столами — заведующие и литсотрудники. Был у нас и один общий стол — низкий и длинный, который назывался «круглым»; здесь проходили наши летучки, наши чаепития, наши встречи с «интересными собеседниками», с представителями нашего славного предприятия, здесь мы отмечали и праздничные даты.

Время, время... Казалось, все, что происходило вокруг, имело к нам прямое отношение — и стихи, и космос, и разговоры о выставках в Москве и Ленинграде, и репортажи о встречах с творческой интеллигенцией, признания Эренбурга, фильмы Хуциева, песни Окуджавы, Городницкого... Герой этих песен вечно куда-то шагал и ехал, словно только в движении и открывалась истина того доверчиво-романтического времени, и никому не известный, ничем особо не отличившийся, он вдруг стал замечен в толпе и был до удивления похож на нас. Взвился занавес, открылось огромное нераспаханное пространство, и казалось, что его можно перейти с рюкзаком и гитарой. И если я по причине срочной службы так тогда и не увидел «Рокко и его братьев», то все же не позднее других прочел и о Холдене Колфилде, и об одном дне «Зимы тревоги нашей».

В редакции было кем гордиться: ну, скажем, Игнатом Бурским, который после Елены Цацко считался вторым пером нашего коллектива. Игнат возглавлял самый ответственный в газете экономический отдел. Сдержанный, с твердыми чертами лица, уже начавший красиво сидеть в свои двадцать семь, он более других походил на любимых нами хемингуэевских героев.

Елена появилась из отпуска через неделю после Игната. Низенькая, невзрачная, она тем не менее лучезарно улыбалась всем улыбкой звезды, а мне кивнула: «Знаю, знаю», — царапнув цепкими глазами профессионала. Она и в самом деле имела опыт, несравнимый с нашим, — работала в большой газете, из которой ушла, когда оттуда пришлось уйти ее мужу. И все из-за фельетона, который он написал. Теперь муж работал таксистом и, ходили слухи, писал повесть, на которую у него был договор то ли с журналом, то ли с издательством, а Елена украшала наши полосы материалами, которые, по общему мнению, сделали бы честь любой центральной газете.

Возник и здоровяк Жора Лепехин, выражавший все свои чувства в открытую, как абсолютно уверенный в себе человек. К тому моменту я уже сам, так сказать, набирал силу, и он, проглотив все мои творения, с грохотом отодвинул стул: «Что деется! Это что же такое деется!»

То, что я писал и печатал, почему-то сочли за новое слово, даже Антон стал смотреть на меня иными глазами, будто до сих пор я водил его за нос. А получилось, что я вдруг действительно обнаружил в себе тягу к журналистике. Это было немного похоже на то, как я писал своей будущей жене, мучаясь желанием, чтобы она увидела и почувствовала то, что вижу и чувствую я. Вот и теперь я находил удовольствие выбирать из груды слов самые точные, как будто переводил с английского, стремясь приблизиться к оригиналу. Думаю, если меня что-то и отличало тогда, то, пожалуй, только искренность новичка, но, захваленный на летучках, я решил, что и вправду что-то значу, и даже послал один свой материал в центральную газету.

Тут-то и вернулась из отпуска она, наша Алевтина. Я увидел ее в редакторском кресле за полуоткрытой дверью — она сидела в темно-красном свитере, опробуя подбородком внутреннее пространство широкого ворота, и в позе ее выражалось удовольствие от того, что она снова здесь, и от того, что, не переставая, говорил ей, весь протягиваясь через стол, Венька. Затем Алевтина, приветливо улыбаясь, вышла к нам, и вынырнувший из-за ее спины Венька остановился передо мной:

— Вот, так сказать... — просипел он своим треснутым во многих местах, прокуренным голоском, делая пассы в мою сторону.

— Слышала, — неожиданно низким голосом, почти контральто, сказала Алевтина, и я пожал протянутую мне загорелую, маленькую, но крепкую руку.

— А кто его привел, кто привел? — как бы не в силах вынести это зрелище, ревниво встрял Антон, но Алевтина усмехнулась краем губ, словно знала другое — что все пути ведут только сюда. Она сутулилась, ходила, выставив голову вперед — как бы прислушиваясь к шорохам времени. В многотиражных кругах она слыла сколачивателем коллективов. Она любила показываться с редакцией в общественных местах: чтобы видели и завидовали. У нее было два девиза: «Газету нужно делать чистыми руками» и «Неважно, как ты пишешь, — важно, какой ты человек». При этом как-то забывалось, что на летучках все равно судили о написанном — отсюда проистекали некоторые недоразумения. И однако раз все мы были здесь — значит, мы были своими людьми. И я, новичок, и наша несчастливая в любви стареющая Галина — она появлялась в редакции позднее других и тут же скрывалась в облаке пудры — «не смотрите, сейчас я стану красивой», — но еще много раз в течение дня раскрывала пудреницу, потому что Венька ядовитыми шутками по поводу ее писаний доводил бедную до слез. Своим был и вдохновенный, с глазами Спаса, Степа Осинин, энциклопедически образованный в области российской истории, говоривший о прошлом, как о настоящем, и тративший на это почти весь свой творческий заряд. «Чужим» был лишь замшелый угрюмец Алексей Алексеевич, единственный, кто уцелел от старого состава, — до пенсии ему оставалось года полтора, и Алевтина обещала начальству дотерпеть его. Алексей Алексеевич сидел на информации, забивая ею две колонки первой полосы, и держался с подчеркнутой вежливостью давно и непоправимо оскорбленного человека. Внешне

подтянутый, пребывающий в вечной мерзлоте отчуждения, он ежедневно подогревал себя спиртным, попадая во все большую зависимость от Алевтины.

Несмотря на сплоченность, коллектив наш был не так-то прост. Однажды, когда мы возвращались с обеда без Алевтины и ее замов, Игнат Бурский вдруг заговорил о них троих без привычного в наших стенах восхищения — зло и нетерпимо. Я попытался свести все к шутке: «Ну хоть Веньку оставь мне», — но, кроме меня, Игнату никто не возразил. Мы шли по коридору, у самых дверей я, пропустив всех вперед, машинально оглянулся — следом, метрах в шести от нас, обратившись в слух, шли Алевтина и Венька. Впервые тогда мне стало не по себе.

Что же я писал в ту пору? Помню только большой, на полторы полосы очерк о Светлане Кулаковой, мастере ПТУ. Собственно говоря, я только добросовестно записал все, что она мне рассказала, сохранив даже ее интонацию и всякие мелкие детали, вроде валенок на босу ногу, в которых она бежала в общагу к своей воспитаннице, по глупости наглотавшейся димедрола из-за своего неверного дружка. Это была одна из первых моих встреч с героиней будущего материала, и волновался я не меньше Светы, поначалу отвечавшей мне сухо и отрывисто, будто я пристал к ней на улице. В какой-то момент нелепость нашего разговора достигла предела — мы сидели на лавочке возле цветника во дворе предприятия — я чувствовал, что материал заваливается, и уже мысленно посылал свою работу к черту... Потом я буду встречаться со многими людьми, у одних брать интервью, за других писать и более или менее научусь, подстегиваемый редакционным заданием, устанавливать контакт и все же так никогда и не преодолею стеснения, которое впервые испытал рядом со Светой, — стеснения человека, по непонятному праву лезущего в душу другому.

Все же кто-то из нас двоих оказался проницательней — вдруг что-то изменилось между нами (может. Света уловила мое отчаяние, а может, я случайно задел ее за живое, допустим, спросил, была ли она сама влюблена?), но что-то изменилось и стало складываться, и я увидел всех ее девчонок, приехавших в поисках счастья из деревни к калориферному теплу, к магазинам, набитым дешевой парфюмерией, к танцплощадкам с развязными от стеснения мальчиками, с катком, где посередке ездили медленно, а по краю стремительно, рискуя зашибиться или зашибить, с женской уборной тут же рядом, где выяснялись отношения с соперницами, — ко всему городскому общежитийному укладу, который они, будто забыв вчерашнее, кровное, родовое, так спешили усвоить на пути к своей неопределившейся мечте, мечте, что по сути была просто гулом юной крови

Расстались мы со Светой довольные друг другом, материал наделал шуму, кому-то показалось, что я сгустил краски, но Алевтина твердо стояла на моей стороне, не дали мы в обиду ни Свету, ни ее девчонок. Но даже в звездные свои часы я не мог отделаться от ощущения, что обманываю окружающих. То, над чем мы бились в газете, было много бледнее самой жизни. Мы словно сговорились быть на газетных полосах проще, примитивнее, чем наяву, будто это было так нужно — через абзац бить себя в грудь или в барабан. Разве не было человеческой усталости, сомнения, раздумья, печали и смерти, разве не было естественного душевного страдания? Или все это ушло в прошлое? «Что читаешь?» — склонялся надо мной не знающий сомнений Жора Лепехин и, выхватив томик Тютчева, насмешливо цитировал: «Не рассуждай, не хлопочи!.. Безумство ищет, глупость судит. Дневные раны сном лечи. А завтра быть чему, то будет». Искусствовед по образованию, он имел настоящую рабочую закалку — три года за токарным станком — и чем дальше, тем охотнее вспоминал об этом. «Ай-ай-ай! — качал он головой. — Гнилая интеллигенция! Бесконечно далеки вы от народа! Ничего! Еще настоитесь перед моим кабинетом!»

Такая у него была присказка. Мы смеялись, но смутно чувствовали весомость Жориных слов; из-за двери появлялась Алевтина, смеясь вместе со всеми, обращалась к Жоре: «А пока, Георгий Николаевич, сдайте мне двести строк на вторую полосу».

— Нельзя быть такой безжалостной, Алевтина Георгиевна! — притворно взманивался Жора, и чувствовалось, что он уважает ее безмерно, в лепешку разобьется, чтоб угодить. За верность она его и ценила. Но он был честным и совестливым человеком, и через много лет, в самую трудную для него минуту, когда из-за Алевтины все вдруг рухнет в его налаженной жизни, мы с ним станем

друзьями, если позволительно друзьям видаться не чаще раза в год. Он таким и останется — человеком нормы, золотой середины, и хотя у него и вправду появится кабинет, ждать перед его дверью никому не придется.

Наконец собрались все. Все — это, значит, еще и молоденькая машинистка Ксения, Ксаша, и Ирина, с которой было всегда легко — и молчать и говорить. Я давно потерял ее след, после развода она подалась в Москву, где была опубликована первая и единственная книга ее стихов, вышла там замуж за своего редактора, сама стала редактировать и уже больше не писала стихов.

Она сказала мне, сразу перейдя на «ты»:

— Можешь сидеть за моим столом. Я ухожу в декретный отпуск. — И я, хоть ничего еще о ней не знал, почему-то огорчился, что она уходит, что у нее своя, далекая от моей жизнь. Жизнь не обделила меня друзьями, но все-таки женщины понимали меня лучше. И Ирину, хотя с тех пор прошло много лет, я бы в этом смысле предпочел всем остальным. Она, как и Алевтина, видела каждого насквозь, но словно извинялась за это и потому не осуждала, а, наоборот, поощряла к лучшему. Рядом с ней я, пожалуй, и становился лучше.

Почти неприметная в будни, она могла вдруг расцвести перед каким-нибудь нашим редакционным вечером, и уже нельзя было оторваться от ее раскосых, как у актрисы Татьяны Самойловой, глаз, от такого же смугловатого лица; ноздри ее вздрагивали, губы приоткрывались, и в танце она, казалось, полностью забывала о самой себе. С мужем у нее были какие-то жертвенные отношения. Альпинист, он на последнем своем восхождении сорвался в расщелину, пролетев метров тридцать в свободном падении, а потом прокатился по снежному склону до первого скального выступа, о который ударился головой. «Мой череп склеивали как греческую амфору...» Он был теперь, по сути, инвалидом, хотя и преподавал труд в школе. От травмы у него остались чуть замедленные речь и движения, потом он стал глохнуть и, чтобы скрыть это, пристально следил за губами собеседника, но все равно часто не угадывал и отвечал невпопад. Ирина — их ребенок так и не увидел свет — долго поддерживала в нем дух прежнего, сильного и независимого человека, но постепенно он все глубже уходил в свою беду, становясь ревнивым, подозрительным, что положило начало нашему с Ириной отступлению друг от друга, а однажды не пришел домой, и ей принесли письмо от него, в котором он просил прощения и развода. Развод, по его словам, был ему необходим, чтобы вернуть утраченную уверенность в себе. «Я нашел, — писал он, — другого человека, которому я нужен таким, какой есть, а не каким был. Поверь, я правильно решил, и не пытайся меня переубедить». Тогда она впервые обратила внимание, как изменился его почерк — стал мелким, бисерным, слова выстраивались в прерывистые цепочки, где каждая буква была расположена выше или ниже соседней. Вскоре она узнала, что он живет у одинокой школьной поварихи, старше его лет на десять... Только однажды она видела их вместе, в кино, и даже издали поняла, что он стал совсем другим человеком... И еще поняла, что ему хорошо, то есть лучше, чем с ней.

Когда умерла Ахматова, Ирина, единственная из нас, полетела в Ленинград на похороны, на которые так и не прорвалась, чудом попав только на отпевание в Никольский собор, где сын Ахматовой, историк Гумилев, изможденный желчный человек средних лет с черными яростными глазами, что-то кричал, обнаруживая отсутствие боковых зубов, и, оборачиваясь к молча наседавшей толпе, раскидывал руки, дабы удержать ее на должном расстоянии от возвышения, где стоял гроб. Неужели на лице Ирины было то самое «золотое клеймо неудачи»?

Да, на наших вечерах Ирина преображалась, словно сбрасывала вериги, которые носила остальные дни. Танцевать с ней было не просто, потому что она слышала свою музыку, и, чтобы попасть в лад с ее вихрем, надо было бы и самому потерять голову. Вечера эти, планомерные, не реже раза в месяц, служили сплочению коллектива, который, пусть его по воле волн, непременно бы развалился. Программа вечеров обсуждалась заранее, добывались финансы, определялось помещение. Нередакционным женам и мужьям вход был закрыт — считалось, что это продолжение нашей профессиональной работы. Не обходилось без конфликтов. Особенно нервничала Жорина жена. Помню повинную его голову над сидящей в своем редакторском кресле Алевтиной.

— Можешь не идти, — холодно выговаривала она. — Это твое право. Я никого не собираюсь принуждать. Только вольно или невольно ты делаешь выпад против нас... — Она выдерживала паузу и добавляла: — И против меня, хотя это, — тут она позволяла себе короткую усмешку, — я бы как-нибудь пережила.

— Ну Алевтина Георгиевна! — стонал Жора. — Я ничего не могу сделать. Я ей все объяснил. Она не хочет понимать. Поговорите сами...

— Еще чего! — возмущенно отодвигала себя вместе с креслом от стола Алевтина, но через пять минут действительно звонила к нему домой и, переговорив без свидетелей, звала его и со снисходительным видом протягивала телефонную трубку. Жора благодарно кивал ей и, робко поднеся трубку к уху, спрашивал:

— Ну, так что, Надюша?

— Ох уж эти жены! — вздыхала Алевтина, и, кажется, не было такой жены, кому не предназначался бы ее вздох.

Но танцевали немного, а больше застольничали. Меня всегда поражала Алевтина способность мгновенно уничтожать все, что было перед ней на столе, и потом то ли в шутку, то ли всерьез поклевывать у других — казалось, она всегда была голодна и в несъеденной пище видела что-то непристойное. Это можно было бы объяснить голодным детством, но тогда я еще почти ничего не знал про нее — ни про ее репрессированного отца, известного в наших местах партийного работника, ни про ее мать, выпускницу Бестужевских курсов, которая вернулась к дочери в пятьдесят пятом году, не знал, что детство Алевтина провела в деревне у тетки и там убегала из школы в поле, и кричала, и плакала, одна среди густой ржи под равнодушным небом, и может, оттого взгляд ее был таким недоверчиво-напряженным. Как не знал, что, может быть, поэтому для нее всего важнее в жизни было, чтобы в ней нуждались, чтобы ее ценили, хвалили, и что за любовь к себе, за признание она готова отдать последнее, что у нее есть. Помню, она была истинно счастлива за дружеским столом, помню ее легкое, чуть деланное похохатывание — так смеются не смеявшиеся в детстве.

Все это я узнал потом, когда однажды, в ее доме, в старинной квартире с высокими потолками, наткнулся на ее фотографию в резной деревянной рамке. На фотографии была худая неуклюжая девочка среди луговой травы, в венке из ромашек и с ромашками же в руке; девочка пропустила миг, когда ее снимали, нескованное движение ее было устремлено вдаль, за обрез фотоснимка, и глаза ее, глядящие туда со знакомым напряжением, были полны такой пронизывающей душу надеждой, что у меня горло перехватило.

Не бывало на этих вечерах только Игната Бурского да чуть не забытой мною Идеи Ивановны, у которой вечно кто-нибудь болел, то сын, то муж, то мать, то сестра, и потому самый ее вид был озарен терпеливой заботливостью и несокрушимым сурдобольством. Игнат в ту пору уже ступил на путь открытого конфликта с Алевтиной, что было возможно, только если у тебя обеспечены тылы. Так оно и оказалось — Бурский уходил в областную молодежную газету, где уже работал один из наших бывших сотрудников, и эта проложенная им тропочка недаром волновала Алевтину. Наша газета считалась поставщиком перьев — вспоминали даже об одном писателе, который тоже начинал здесь. Но к «перебежчикам» Алевтина относилась непримиримо: «Кто не с нами, тот против нас».

— И что он там найдет? — говорила она нам об Игнате. — Денег не больше (и это было правдой), а атмосфера... Впрочем, он ей будет вполне соответствовать.

Получалось, что работа в многотиражке почти со всех точек зрения лучше. Больше творческой инициативы, выдумки и так далее, вот только престиж... Но «кто во главу угла ставит престижность, тот никогда не станет хорошим журналистом», — припечатывала она. В эти последние, видимо, наиболее трудные для него дни Игнат почему-то в основном общался со мной, и я не считал возможным передавать кому бы то ни было его мнение о нашей редакции. Впрочем, он и раньше не делал из этого особой тайны. Он считал, что Алевтина печет своих людей методом мелких услуг и подачек, требуя взамен не меньше, чем душу со всеми ее причиндалами. При этом

хорошо бы, чтобы у тебя в жизни было не все в порядке — так тебя легче взять. Все начиналось с сочувствия, с готовности выслушать и немедленно помочь; кончалось тем, что она начинала вить из тебя веревки. Пример? Пожалуйста — ее дружок Володя Хомяков... «Только не надо делать вид, что ты этого не знал». — «Я не знал». — «Тем хуже для тебя». — «В каком смысле?» — «В каком? — скоро узнаешь. Дальше Венька — полный и окончательный раб. Я бы мог тебе рассказать, как он им стал, как до газеты он бегал с магнитофоном по цехам, как вытирали об него ноги... А Жорка — она на ваших глазах заглатывает его. А он только жмурится от удовольствия... А как она к тебе относится?» — Этот вопрос застал меня врасплох.

— Как? Мне казалось, что она меня уважает...

— Дорогой мой, — ослепительно улыбнулся Игнат и дружески похлопал меня по плечу, — она уважает только тех, кого боится.

Пока он говорил, все это было похоже на правду, но потом, рядом с Алевтиной, я видел ее инстинктивные жесты расположения ко мне и то, как она одобритительно кивала, когда я выступал на летучке, слышал, как она отзывалась о моих материалах, и поневоле снова становился на ее сторону.

Обрушив на меня немало похвал, все вдруг стали писать лучше. Особенно Антон — и его потускневшее было перо засверкало с прежней, если не с большей яркостью. Антон и заменил ушедшего Игната на производственной полосе, и тут обнаружилось, что он просто замечательный специалист по экономике, журналист-экономист милостью божьей. Алевтина хоть и хорохорилась, а переживала, что после ухода Игната эту дыру не заткнуть, — и вдруг Антон. Он был толстый и веселый, и если бы создательница Карлсона, который живет на крыше, жила не в Швеции, можно было бы допустить, что она списала его с Антона. Он любил делать подарки и легко расставался с тем, чему только что радовался сам. В комнатухе его, которую он снимал, волнующе пахло трубочным табаком «Клан», он собирал трубки, и одну — вересковую — через много лет я привезу ему из Лондона. А какую газету мы делали на филфаке, лучшую стенную газету мира, длиною во весь наш коридор от женского до мужского туалета, ее приходил читать весь университет, включая профессорско-преподавательский состав, мы мыслили форматом ватманского листа, и этих листов набиралось штук двадцать или тридцать — там я поместил свои первые стихотворения, а Антон свою праздничную, под Бабеля, прозу, чтобы вскоре понять, что из нас не получится ни поэт, ни писатель, хотя потом Антон и напишет несколько популярных книжек для какого-то неизвестного мне издательства. Мне хотелось бы рассказать про наши холостяцкие вечеринки и как однажды, сидя на ступеньках собора, единственной в нашем городе полуразвалившейся реликвии, и глядя на толкушихся возле старушки кормилицы голубей, Антон сказал, что, видимо, его скоро женят, потому что первой, кто только этого захочет, он не сможет отказать; и как вскоре после этого нам довелось провести ночь в огромной чужой квартире, и я проснулся в темноте оттого, что кто-то кричал и плакал тоненьким голоском, я не сразу сообразил, что это Антон, которому досталась огромная супружеская постель хозяев, — он плакал во сне, а утром ничего не помнил и выслушал меня с большим недоверием. С годами он стал болезненно мнительным, рядом с ним надо было думать о каждом своем слове, его друзья, в том числе и я, месяцами ходили в виноватых, но все равно нас всегда тянуло «общнуться» с ним, умницей и остряком, пустившим по ветру почти все свои таланты, но не утратившим одного и, может быть, самого главного — умения радоваться жизни.

А моя собственная слава в многотиражке достигла апогея — я сгибался под ее бременем, не чувствуя, что развязка уже близка и что пора бы подумать, как быть дальше. Запомнилось, как однажды мы пришли в гости к Елене Цацко, и навстречу нам вышел ее муж, бывший фельетонист, а теперь почти что прозаик, так как повесть его приближалась к финалу, и Алевтина с Венькой уже читали перепечатанные главы, и по их отзывам это было великолепно, в духе Ильфа и Петрова, но злободневней, — так вот, он вышел нам навстречу, и я, стягивая с шеи шарф левой рукой, протянул ему правую и развязно сказал:

— Я Кадамов, — так, будто в моей фамилии не было первой буквы.

— Вижу, — ответил он и больше на меня не взглянул на протяжении всего вечера, даже когда под стоны Алевтины показывал нам слайды, снятые в Бурятии, где был в турпоходе на лошадях.

Этот мой, едва ли замеченный окружающими, конфуз, надо думать, насторожил меня, раз я о нем помню, и впервые посеял сомнения — так ли уж все хорошо со мной, как вокруг говорят, и тут как раз и позвонил мне «перебежчик» Игнат. Я чувствовал, что просто так он не позвонит, — и не ошибся.

— Приходи, есть разговор. Думаю, для тебя небезынтересный. Только вот что... о том, куда ты идешь, никому. У Алевтины уши везде.

Я еще ни разу не был в редакции молодежной газеты, расположенной вместе с «Вечеркой» в старинном особняке на главной улице нашего города, за оградой с зеленым двориком и фонтаном, правда, бездействующим, и впечатление, что там действительно все иначе, чем у нас, это впечатление было довольно сильным. Игнат деловито поздоровался, покровительственно подталкивая в спину, отвел в свой промышленный отдел и, заперев за собой дверь, глянул на меня слегка отвлеченным взглядом:

— Ну, как там у вас? — По лицу его было видно, что он и без меня это знает. Я приподнял плечо.

— Не надоело?

Я приподнял второе.

— С каких это пор ты такой осторожный? Ну ладно, — не стал он смаковать мое состояние, — тут такое дело: в школьном отделе открывается вакансия. Попробуешь? Во всяком случае, я назвал твою кандидатуру

— Спасибо, — сказал я.

— Что тебе ответили из Москвы? — Оказывается, он помнил, что я посылал туда материал.

— Отказали. Говорят, что не по адресу.

— Так... — оживился он — Вот об этом тоже никому. О наших неудачах не должен знать никто. Я сейчас отведу тебя к заву, а там уж ты сам. Между нами говоря, — он понизил голос, хотя, кроме нас, в комнате никого не было, — зав — фигура временная. Но пусть тебя это не волнует — делай, что он скажет

Отказ из Москвы — это был еще один сигнал, что со мной не все в порядке, но там меня переадресовали в другую центральную газету, как бы давая отсрочку приговора.

Игнат повернул ключ в замке, распахнул дверь, и я снова оказался в длинном коридоре с комнатками по обе стороны — почти все двери были открыты, и из одной в другую то и дело с озабоченным видом перебегали молодые люди моего возраста, почти каждый нес перед собой листок бумаги. Лица многих из них были знакомы по университету, кто-то кивнул, а кто-то, выскочив из-за спины, крикнул: «Какими судьбами?» — и, не дожидаясь ответа, нырнул в ближайшую комнату, стрекотали пишущие машинки, и пахло как на вокзале, а кроме того, бумагой и типографской краской. Что-то прошелестело над головой и лопнуло, как лопаются на болоте воздушный пузырь.

— Наша пневмопочта, — перехватил мой взгляд Игнат. — Не надо бегать к наборщикам. Прямая связь с типографией.

Типография, где печаталась и наша, и другие газеты, была дальше, за особняком.

С завом, подвижным, оживленным, молодым, тоже моих лет, мне так толком и не удалось переговорить — его вызывали куда-то, то звонили, то он сам звонил, каждый раз бросая мне: «Извините», и, похоже, ему нравилось так часто извиняться. У него было отличное вращающееся

кресло, и казалось, он падает в него лишь для того, чтобы, откинувшись на спинку, крутнуться влево-вправо, затем он снова вскакивал, но видно было, что помнит о полученном удовольствии и готов его повторить. Уронив трубку на рычажки, он несколько мгновений неузнающе смотрел на меня, потом спохватывался: «Ах да!» — и начинал улыбаться. — «На чем мы остановились?»

— Пятнадцатая школа, — подсказывал я ему, — девятый класс...

— Ну да... так вот. В этой школе девятиклассники решили учиться без троек. Между прочим, сами, без подсказки. Надо съездить, поговорить с директором, завучем, с секретарем комсомола. Ребят можно собрать. В общем, нужен серьезный обобщающий материал. Опыт нужно распространять. Так что езжай, действуй! — И он радостно пожал мне руку, уже как своему сотруднику.

Материал этот, слово к слову, фактик к фактику, я наскребал недели две, представляясь каждому из моих собеседников корреспондентом молодежной газеты, как мне и велел зав, но это не облегчало мою задачу — я не понимал, что от меня требуется. Я прошерстил газету за несколько месяцев, нашел даже очерк по этой же школе, в нем говорилось о мальчике, чем-то сильно увлеченном (рубрика так и называлась — «Мир твоих увлечений»), и сам мальчик объяснял корреспондентке свое увлечение словом «заводимость». От себя корреспондентка добавила: «Высокая».

Так или иначе, через две недели я принес заву нечто на шести страницах, мученое-перемученое, переписанное не меньше шести раз — в свою газету я писал сразу и набело.

— Отлично! — пробежав глазами полстраницы и пролистав остальные, заулыбался мой будущий начальник. — А то говорят — ничего не сдаем. Как не сдаем — во какой материал! Я им сейчас... — И, схватив мои страницы, выбежал из кабинета.

Я ждал его около часа. То и дело звонил телефон, но я не поднимал трубку — мне казалось, что это Алевтина разыскивает меня, пропавшего среди бела дня. В комнату все время заглядывали, и я сидел как на иголках. Наконец дверь раскрылась спокойно, чувствуя руку хозяина, и вошел он сам, сытый, розовенький, с налитыми послеобеденными губами. Похоже, он удивился, что я здесь.

— Мне надо идти, — сказал я.

— Конечно, конечно, — сказал он, глядя на меня с недоумением.

— А с материалом как? — спросил я.

— Ах да! — озарился он. — А я думаю... Ну да! Я отдал. В этот, в секретариат. Позвони через денька два.

Через два дня ничего не было известно, а через неделю он мне ответил, что материал ставят в номер, и, распираемый радостью, я стал ждать. Было заметно, что жду не только я, но и Алевтина. У меня она ни о чем не спрашивала, но каждый день лихорадочно просматривала три наши большие газеты. Стало быть, слухи, дошедшие до нее, были не слишком подробными. Я звонил в редакцию тоже каждый день, чтобы самому вычитать гранки, и если сокращать в полосе, то тоже самому, чтобы не рубанули по живому, звонил и слышал, как наливается тишиной наша главная комната. Правда, моя жена говорила, что материал неинтересный, нет в нем ни живого дыхания, ни авторского отношения, но я-то понимал, что это тебе не многотиражка, а нечто более ответственное. На пятый день трубка ответила мне голосом моего заведующего:

— Материал не прошел.

— Почему? — спросил я, хотя не надо было спрашивать.

— Редактор снял. Нет сверхзадачи. Что это мы умиляемся, что наши ученики учатся без троек? Тему надо брать глубже. Время такое, что нельзя по поверхности. В общем, отдел в прогаре — ничего в номер, хоть сам пиши...

Я извинился и повесил трубку.

Наутро Алевтина уже не ворошила газеты. Она встретила меня насмешливо-испытующим взглядом, и весь день я слышал из-за прикрытых дверей ее деланный хохоток. Игнат мне больше не звонил.

На дворе стоял декабрь — ровно пять месяцев с начала моей работы. Принесли свежий номер многотиражки, которая еще совсем недавно была для меня чем-то живым, таинственным, державшим, если прибегнуть к стилю нашей Елены Цацко, между захлопнутыми створками страниц жемчужинку моей фамилии, она была там и на сей раз, но неузнаваемо потускневшая, всего лишь песчинка, мелкий камешек со дна реки...

И началась долгая, до самого лета, мучительная пора выживания. Створки больше не удерживали меня, но я прилеплялся к ним, не зная, куда еще податься.

Вдруг обнаружилось, что у меня гораздо меньше, чем у других, авторских строчек, то есть тех, которые мы писали за наших уважаемых авторов.

— Он же ничего не делает! — слышал я голос Алевтины из-за полуприкрытой двери, но продолжал сидеть, уставившись в стол, не в силах оторваться, пойти в цех, поговорить с кем-нибудь и выжать из себя двести авторских строк — и никто мне не запрещал этого сидения, будто таким образом я и должен был испытать всю глубину своего провала. Мне продолжали выдавать зарплату. Видимо, за мой позор.

Однажды меня задержала за рукав наша Елена и сквозь зубы, почти не шевеля губами, глядя в сторону, проговорила:

— Боря, если вы собрались уходить, вы должны работать как ни в чем не бывало. Иначе вас сотрут...

Кому-то еще казалось, что я на коне, а я не только брякнулся оземь, но и растерял все свои доспехи.

Но я выжил. И когда я наконец с гримасой отвращения сел за мало-мальски стоящий материал и сделал короткой и емкой, как удар снизу в подбородок, последнюю фразу — речь шла о нашем танцевальном павильоне, превращенном снабженцами в склад бракованной продукции, — я, видимо, и стал плохоньким, но все-таки журналистом, и это рождение, прошедшее без фанфар и отмеченное на летучке Алексеем Алексеевичем как «высосанный из пальца пустячок», памятно мне до сих пор.

— Уходи! — не раз говорила мне тогда жена. — Уходи в школу. — Сама она преподавала математику в старших классах.

Но именно в школу-то я и не хотел. Я знал, что не выдержу режима, графика, плана, ежевечерней подготовки к завтрашнему — я мог работать только по настроению, вспышками, к тому же я понял, что у меня нет особой воли, мне претила сама мысль руководить кем или чем-нибудь. Наоборот, мне нравилось получать конкретное задание — я был исполнителем и нуждался в чужой воле как в толчке к действию. Но меня обычно долго принимали не за того, кто я есть. Странно... Хозяином положения я никогда себя не чувствовал. Скорее — книжный человек.

А в нашей газете и без меня время от времени случались катаклизмы — почему-то их было больше, чем подобает быть в крепко сколоченном коллективе, и получалось так, что от них встряхивало всех, хотя и касались они одного или двух из нас. Так вдруг обнаружилось, что Володя Хомяков от Алевтины переметнулся к нашей машинистке Ксаше. Ксаша была видная девушка, ее длинные тугие ноги казались еще длиннее от мини-юбок, которые как раз входили в моду, только мордочка у нее была слегка подвявшая, с розовыми мешочками на скулах, и темно-ореховые ее глаза смотрели хоть и пристально, но без выражения. Такой взгляд бывает у кошек, бегущих по своим делам. Да и в ее манере было что-то плавное, кошачье. Она могла на час замереть в какой-нибудь прихотливой позе, уставившись на ветку за окном, пока вдруг из-за двери

в машбюро не доносился протяжный, диковатый стон — это Ксаша потягивалась. И заставший ее за этим занятием не мог не отметить Ксашиной звероватой пластики, при том, что каждый ее член выгибался за пределы, обусловленные возможностями человеческого скелета.

И вот Ксаша торжествовала победу, а бледная от этой «неслыханной пошлости» Алевтина, сидела, сжав кулаки, за своим столом, и впервые не знала, как поступить. Ей ничего не стоило выгнать Ксашу, но это значило обнаружить то, что, по ее убеждению, коллективу не было известно. Она готова была выгнать и Хомякова, хотя бы и через партком, только он не собирался уходить, делая вид, что ничего не произошло, будто они могли продолжать работать вместе. Да господи! Пусть кто угодно! Алевтина бы еще могла понять, простить, отступить. Но Ксаша! Эта молоденькая дрянь, милашка с блудливыми глазками... Такой позор нельзя было перенести. Ах, Володька, Володька, что ты наделал! Что ты наделал, негодяй!

Полтора года назад они случайно столкнулись в Крыму, в Алушке — Алевтина возвращалась в Ялту, в санаторий, а Володька, оказывается, жил тут в своей собственной палатке и почему-то один.

— Почему это ты один? — похохатывала она.

— А я развелся, — вдруг тихо, серьезно сказал он

— Как развелся? — опешила она.

Вместо ответа он вытащил из заднего кармана брюк телеграмму и протянул ей. Что она там еще насочиняла, его глупая Тамарка? Что уходит в очередной раз? Ну так это уже было — и Алевтина сама его утешала, даже звонила и встречалась с ней. Первым ее порывом было бежать на переговорный пункт, звонить, орать на неверную его жену. Но тут она очнулась — все-таки не дома.

— Как это развелся? — машинально повторила она.

— Точнее, подаю на развод, — сказал он.

— Ну и правильно! — вырвалось у нее, хотя она не ожидала от себя такого.

Потому и не уехала с группой обратно в Ялту, что ему было плохо, они прогуляли допоздна по саду возле Воронцовского дворца, и впервые он рассказал ей все — долгие Тамаркины командировки и всякие отговорки: то нельзя, то устала, то почему он не бредет на ночь — я думал, ей не нужно, такой уж склад, а она изменяла чуть не с первым попавшимся. А мне — отодвинься, какая у тебя противная кожа. Я и решил, что я действительно противный, мерзкий, липкий, и ни одна женщина не захочет меня.

— Ну что ты, Володенька, что ты, — у нее дрогнул голос, — какую чушь ты мелешь, какую чушь...

— Чушь? — вскинул он голову. — А ты бы?

— Что я?

— Ты бы могла быть со мной?

— Ты с ума сошел!

— Вот, — сказал он и, не оглядываясь, пошел прочь. Она догнала его, подняла на смех, потом они пошли в ресторан поужинать, потом к нему в палатку, и сначала было очень жарко, а потом очень холодно, и под утро они вылезли наружу встретить восход, и небо и море были жемчужными, и внизу из воды выпрыгнула огромная темная рыбина, блеснув чешуей, плюхнулась и снова выпрыгнула, сделав четыре мощных шлепка, и долго еще расходились, пересекались круги, и это было как чудо.

После развода он некоторое время жил у нее, и об этом, кроме матери, не знала ни одна живая душа, даже Венька, потом она нашла ему недорогую комнату, а сейчас, только что, он получил жилплощадь от комбината — и что? Все коту под хвост? И как она объяснит в парткоме, Валентине? К тому же у той свои неприятности — вызывали на ковер, накачивали за большую рекламу тканей. Валентина не поймет. Ах, Володенька, Володька, что ж ты натворил...

Нет, она не собиралась женить его на себе, старовата для него, стара, матушка, но они могли оставаться добрыми друзьями, близкими людьми. Решила так: сначала поговорит с этой, с Ксашей, чтобы понять, как далеко у них зашло и что себе думают дальше. Володя — от него ничего не добьешься, будет запирается. Зачем он это сделал, за что? За что он так ее наказал? Она заменяла ему всех — жену, возлюбленную, друга...

Он и в самом деле был не красавец — лицо бугристое, изрытое, волосы сальные, хоть мой каждый день, — она и заставляла. Но какие глаза — как это никто из баб не заметил, какой у него добрый, надежный взгляд. Ответственный секретарь — это все, что она могла пока для него сделать, а дальше, дальше... надо было просто подождать. Ведь и она ждет и не устает от ожидания — знает, что дождется. Только бы не унизиться перед этой дрянью. Стучат. Это она. «Войдите!» — слишком уж громко это сказала. Будто ждала. На всякий случай руки убрала со стола — чтоб не выдали. Вот она, красотка, и что мужики в ней находят? Цена — копейка в базарный день. «Ты, наверно, догадываешься, зачем я тебя вызвала?» — «Нет, не догадываюсь». — «Не догадываешься?» — «Нет». (Господи, что дальше? Надо выиграть время.) — «Я вызвала тебя по поводу ваших с Хомяковым отношений». — «Ах вот оно что. И какие они у нас?» — «Об этом я и спрашиваю». — «Спросите что-нибудь полегче». — «Не хами, ты на работе, а не дома. И сядь как следует» (Я, кажется, не держу себя в руках) — «Пожалуйста. Так устраивает? Только и вы не тыкайте. Мне это не нравится». — «Хорошо (Кто ее воспитывал?) — Ну так?» — «Так что?» — «Я слушаю тебя, то есть вас». — «А нам сказать нечего». — «Кому это нам?» (Господи, хоть бы одну зацепку!) — «То есть мне». — «Это все?» — «Да, это все» — «Ну что ж, ты свободна...» — «Не ты, а вы!» — В этот момент Алевтина чуть не плюнула в Ксашину резиновую физиономию, вскочила — Ксаша отпрянула, но она прошла мимо Ксашки к окну, встала спиной. А та постояла в тишине, будто все-таки собиралась что-то сказать, и молча вышла. Так, вот оно. Думаешь, знаешь человека, все знаешь — что может и что не может, а он как песок меж пальцев. Ну ладно, голубчики, ладно. Давно такого не было, чтобы ей смеялись прямо в лицо, открыто, нагло.

С Володей решила не говорить — только работать в одной комнате стало невыносимо, при том, что он, посчитав, что прощен, что пронесло, стал заискивать, называл, как прежде, «Алечка» и делал вид, что все о'кей. Но через неделю в его дежурство на первой полосе были перепутаны клише, и подписи не только потеряли смысл, но вышло просто непотребство, оскорбили лучшую ткачиху из первого цеха, мать-одиночку — под ее портретом было напечатано: «Каждый день эта проходная пропускает сотни людей...» — ну, конечно, не до того, небось, летел на свидание, Алевтина объявила ему выговор, а вскоре еще один — строгий, и тоже за дело.

— Это месть, Алевтина Георгиевна, — весь белый, прошептал он сухими губами.

— Это не месть, Владимир Михайлович, это объективные отношения... Так, кажется, вы мне советовали себя вести. Привыкайте. Впрочем, привыкать, видимо, уже нет времени.

— Я должен уйти?

— Да, ты должен уйти, — сказала она ему. — Если ты мужчина

И он ушел, и вместе с ним ушла ее боль, будто он и приносил ее в прямом смысле слова — вот сюда, в эту комнату, к этому столу. Только еще один момент был трудным — объявить, что он увольняется по собственному желанию. Да, она боялась их вопросов. Но больше всего ее поразило, что они ничего не спросили.

— Что, вопросов нет? — до неприличия растерялась она. Все молчали, уткнувшись в стол. — Ну что ж, тогда продолжаем работать, — сказала она и первой встала из-за общего стола.

Тут она, пожалуй, впервые почувствовала, что между нею и ими, кого поддерживала, кому помогала, с кем возилась изо дня в день в ущерб своим собственным делам, — что между ними пусть не пропасть, но овраг, ров, трещина. Валентина, секретарь парткома, вопреки всему не стала копаться в этом деле, даже вроде глянула на нее с одобрением. Поздно ночью, лежа в постели, слыша, как за стеной посапывает матушка, она вдруг до стыда, до жгучего стыда, так что лицо вспыхнуло, поняла, что все всё знали.

Но это можно было пережить, и она пережила. Ксению не тронула, хотя видела, что та следит за каждым ее шагом. Под Новый год поехали в Паневежис.

Друзья ее часто спрашивали — зачем ей это нужно? А ей было нужно, нужно, чтобы все были вместе, чтобы у всех была одна цель и чтобы они к этой цели стремились. Какие все они были пресные по-одному — и как преображались в общем кругу! Она надеялась, что они вспомнят, что это она затеяла ради них же — вспомнят и когда-нибудь поблагодарят ее. Человек один так скверно, скучно, инертно живет — ненавидит самого себя, или свою жену, или свою работу, а она хотела, чтобы они любили друг друга, а значит, и самих себя, она хотела, чтобы работа была им в радость и чтобы все они неслись вместе куда-то и пели, пели, черт побери: «А дальняя дорога дана тебе судьбой, как матушкины слезы, всегда она с тобой». Ее словно мучило, что они могут куда-то опоздать. Она сама торопилась и торопила их. И, если откровенно, она умела то, что не умели они.

В ту зиму долго не выпадал снег, и ехали мимо бесснежных размякших полей, мимо теплых, влажных лесов, и стволы деревьев были сизы, а под ними лежала потемневшая, но еще оранжевая листва, автобус останавливался — «Девочки налево, мальчики направо!» — и между голыми ветками еще висела порванная осенняя паутина, а по верхушкам мягко проходил ветер, и казалось, что это апрель.

Жили в новой гостинице — знал бы кто, чего ей это стоило, — и в тот же вечер они закатали грандиозный ужин, приехали их новые друзья из местной газеты, им отвели отдельный зал, и Витаутас все тащил ее в сауну: «Только ты и я, Аля, только ты и я». Она сказала, что пойдет со всеми. «Нет, со всеми не получается. Со всеми можно завтра». Она сказала, что он плохой редактор, если прежде думает о себе. «Я хороший редактор, — сказал он, — но есть время только мое. Я хочу, как это, побывать без них. Иначе можно ненавидеть» — «А я хочу всегда быть с ними», — сказала она. — «Это очень плохо, Аля, — сказал он. — Это опасно». Так с ним и не пошла, славным, могучим Витаутасом, который был вдвое больше их самого крупного мужика, и он перекинулся на Ирину, но и тут не имел успеха — та все время убегала в номер к Боре Кадамову — интересно, чем они там занимались? — и в конце концов его вниманием овладела розовая от пудры Галина, дождавшаяся-таки своего часа, и висела на нем, моргая расширенными глазами с чудовищными, из одной туши, ресницами: «Витя, шампанского!»

А я лежал в номере с температурой тридцать восемь и две, под одеялом и пальто, приняв две таблетки аспирина и надеясь подняться к завтрашнему театру. Я бы вообще не поехал, но Антон шепнул «Старик, надо». Прием в редакции литовской газеты я пропустил, и меня по очереди травили рассказами о том, как это было, как пекли на углях камина нанизанные на старинную шпагу местные сардельки, и какое было пиво, и как пели вокруг стола, взобравшись на стулья и взявшись под локти. Я пролежал весь день, глядя в окно на рыжие стволы сосен, которые медленно качались и скрипели, как мачты парусников, а вечером прибежала Ирина и читала свои стихи, а потом принесла вина, но пить я не стал и все гнал ее назад в компанию, но она не хотела уходить и говорила: «Ну что ж ты заболел — я мечтала с тобой потанцевать»

Наутро я был почти здоров, и в полдень мы уже входили в театр, в его современную архитектурную коробку. Давали Стриндберга, притемненный черным бархатом занавеса зал был неожиданно полон, недаром у театра стояло столько машин, актеры играли в какой-то утонченной манере, чуть архаично, со скульптурными мизансценами, как бы прохладно. «Посмотрите, как они ходят, как сидят! — шептала рядом Алевтина — У нас так давно разучились», — и сверкала глазами в полутьме вдоль первого занятого нами ряда, словно чтобы выловить сомневающийся и окунуть их немедленно в сладостную истому «настоящего театра». Но после первого акта, в перерыве

вдруг засуетилась, объявила, что мы не успеваем в потрясающий загородный ресторан, где уже заказан стол, и что ресторан во всамделишной отреставрированной мельнице, и кто не поедет, до конца дней будет жалеть.

— Да что же это такое?! — завопил Антон — Мы пришли в театр? В театр. Там потрясающе, и здесь потрясающе. От добра добра не ищут. Надо смаковать что-нибудь одно.

— Вот и смакуй, — сказала Алевтина, — а мы поехали

— Я не поеду, — сказала Ирина

— Хорошо, кто еще? — оглядела нас Алевтина, задержавшись на Веньке, который, как всегда, в решающую минуту вместо себя оставлял щель, в которую сам же и подглядывал.

— Я тоже, пожалуй, останусь, — сказал я как можно миролюбивей

— Ну, ты у нас больной, — согласилась Алевтина.

— И я лучше досмотрю, — просительно кашлянула Идея Ивановна, чудом вырвавшаяся из своей больницы на дому.

— Да как вам не стыдно! — рассердилась Алевтина. — У нас стол заказан!

— А ничего, послушай... — высунулся из щели Венька, помавая руками, как бы уминая ком противоречий в миролюбивое тесто согласия, — их четверо, нас шестеро, позовем еще четверых наших коллег...

— Звать не будем. Сами съедим, — обрезала Алевтина, иронически глянув на него.

— Сами так сами, — свел наконец руки вместе Венька.

Так и получилось, что мы, надев наушники, досмотрели до конца спектакль, а они исчезли и появились только в первом часу ночи и не давали спать, теребя рассказами — то ли из зависти, то ли из сожаления, что нас не было, когда на обратном пути камнем из-под колеса впереди идущей машины выбило ветровое стекло автобуса, и все околели, пока не добрались до какой-то автобазы, где никто не понимал по-русски, и тогда Алевтина дозвонилась до Витаутаса — и сразу нашлись и мастера и стекло, его поставили за три минуты и совершенно бесплатно.

— Хорошо, что ты не поехал, — сказала мне Алевтина, — завтра будешь нас лечить по своему методу.

Но наутро никто не заболел, и об этой поездке долго вспоминали, а значит, готовились к следующей.

Я работал в основном на четвертую полосу и потихоньку, чтобы и у меня были авторские строчки, так как самотек был нарасхват, потихоньку вербовал своих собственных авторов. Сами по себе вот уже много лет в газету постоянно писали человека три-четыре. Два из них были рабкорами еще с первой пятилетки, а от пенсионера Ворошихина все давно уже шарахались, потому неудивительно, что его сложенная вдвое, в ширину футляра для очков, замусленная школьная тетрадка с каракулями оказалась у меня. Все, что знал и помнил Ворошихин, газета уже давно напечатала, но он по-прежнему приносил свои воспоминания о старом режиме, о цеховых цербермах-мастерах, штрафующих что ни шаг рабочих, и о молоденьких работницах, жертвах их амурных притязаний.

— Это уже было, Егор Варфоломеевич! — кричал ему в ухо Венька.

— Вот я и прописал тут, что было, — сквозь зубы, чтобы не выронить вставную челюсть, твердил Ворошихин, желто-зеленый, как запеченное яблоко, желто-седой, присыпанный перхотью.

— Я говорю, у нас было! В газете! Мы публиковали!

— Этого не было, — тряс головой Ворошихин, — это другой случай.

Взгляд у него был злобный, но, как любого старика, мне стало жалко его, и я кивнул Веньке, указывая на себя.

— Я вас слушаю, молодой человек, — процедил он, не разжимая зубов, и сел возле моего стола с видом, будто это мы подвергаем его незаконному штрафу. Он еще дрожал от непосильного для его лет возбуждения ..

Писал он ужасно, и все же какое-то чувство, какая-то пятидесятилетней давности боль угадывалась за его ползущими с горы строчками, похожими на ржавую проволоку. «Бывало остановишься передохнуть по причине поясницу ломит в глазах мошки, а мастер тут как тут кричит слюной брызжет на тебя конduit достает. А еще была у нас такая Катя трепальщица очень миленькая молодая особа». Я попросил его еще раз рассказать историю бедной Кати, которую хозяева фабрики выгнали по доносу мастера за порог, и она, родив в деревне, снова вернулась в город, но смогла «устроиться» только в известное заведение, где автор, как можно было догадаться, с ней неожиданно и встретился. Рассказывал он подробнее, чем писал, — глухим, медленным, бесстрастным голосом, и слова тоже были глухие и бесстрастные, как груда камней, но я все же выстроил из них стенку, «страничка из прошлого» была напечатана, на летучке ехидно отметили, что талант Ворошихина окреп, и помолодевший старик, зайдя за экземплярами газеты, снисходительно принимал мои и Венькины поздравления. Через неделю он принес новые воспоминания.

Гвоздев Иван Кузьмич, главный бухгалтер, уже лет десять, сначала по собственному почину, а потом с поддержки парткома, занимался историей родного предприятия, и к моему приходу у него уже начало складываться что-то вроде исторического очерка страниц на сто с лишним. Многие главы были в свое время опубликованы в нашей газете, стало быть, предварительно выправлены, и имели теперь вполне приличный вид. Очередную свою главу он доверил мне.

— Вениамин Львович направил, гордись! Говорит, лучший в нашем деле редактор. — Он бежал рядом, веселый, темный и лысый, как ромовая баба, то и дело оскаливая желтые зубы. — Значит, договорились. Делай, что считаешь нужным. Я не обижусь. Я тебе верю. Плохой человек сюда не сядет. Ваша Алевтина — во! — Он поднял большой палец. — Правильно я говорю? Нет, я правильно говорю?

Года через два он подарит мне свою книжицу, в которой я узнаю главы, наново переписанные мной.

— А что ты хотел? — в свою очередь, удивится Антон. — Все законно. Мы кто? Мы герои незримого фронта. Одним вершки, другим корешки — Он хлопнет по столу толстой ладонью и пропоет: «Не стареют душой ветераны, никогда не стареют душой».

Заглядывали к нам и более известные авторы, правда, не печататься, а, так сказать, для обмена опытом и встречи с коллективом. Как-то Алевтина привела знаменитого московского фельетониста, командированного в наш город по заданию своей газеты, и целый вечер мы не столько слушали, сколько привычно охмуряли его нашей исключительной, не имеющей аналогов ни в нашем городе, ни во многих других, ближних и дальних, творческой атмосферой. Мы ознакомили его с материалами нашей юмористической страницы «Дерюга». «Ученица трепальщицы Шпулькина, кроме своей основной профессии, осваивает еще одну — мотальщицы. Ребята говорят ей: «Манька, мотай отсюда!» — и Маня мотает»... — с нашими лучшими рубриками «Болезненные советы» и «Тоска объявлений», мы раскрыли перед ним дверцы шкафа, где хранились переплетенные номера нашей газеты за всю ее приближающуюся к тридцатипятилетию историю, но не ради нее самой, а чтобы прочесть наши изречения, которые, как на телеграфных лентах, печатал и приклеивал к внутренней стороне створок историограф нашей редакции Степа Осинин. Фразы эти вроде «одинокая бродит гормонь» (с намеком на Ксашу) или «без царя во главе» (с намеком на директора комбината) рождались, как правило, неожиданно. Красовались там и две моих — «Над пропастью не ржи!» и «На работе надо работать» (последнюю приклеили, чтобы меня же и уязвить), но сейчас, когда мы показывали все это гению московского фельетона

новой волны, почему-то было не очень смешно, и мы, отталкивая друг друга, объясняли, что имеется в виду.

— Я понял, понял, — охотно кивал фельетонист, хорошо обутый, хорошо пахнущий, в добротном костюме из ткани не нашего производства.

И все же ему у нас понравилось, а еще больше — мы сами, и он, вскользь приглядываясь к каждому, даже вздохнул: «Да, славно живете», — будто ему не хотелось возвращаться домой.

— Вот и оставайтесь! — вскричал наш дружный коллектив.

— А что, возьмете? — игриво блеснул он очками.

Незаметно наведывался друг Алевтины из горкома, бледненький, худенький, с умным болезненным лицом, ему было немногим больше сорока, но он был инвалидом войны и хромотал. Обычно он подолгу беседовал с Алевтиной в ее комнате, а уходил так же незаметно, но с теми, кто в тот момент был в редакции, прощался с ровной приветливостью человека, имеющего о нас свое твердое положительное мнение. Однажды пришла и его жена — кто-то оповестил, чтобы всем стало понятно. Не снимая своей лисьей шапки, с приклеенной улыбкой то ли одобрения, то ли снисхождения, она разглядывала на стенах наши плакаты для внутреннего пользования, составленные из заголовков газет и журналов, карикатуры на каждого члена редакции, а потом уединилась с Алевтиной. Нам она категорически не понравилась, и Алевтина в штат ее не взяла. По этому поводу у Алевтины было тяжелое объяснение, но в конце концов «там поняли» и оставили нас в покое.

Да, попасть к нам было непросто — и все-таки вряд ли кто из нас гордился местом своей работы. Пожалуй, многие втайне стеснялись. Например, мы с Ириной. И я долго не понимал, почему на летучках Ирина вступает в тихую, но внутренне страстную перепалку по поводу любой своей заметки, тем более что сама никогда не бывала довольна своими материалами, как бы доподлинно живя только в стихотворном мире. Но перепалки эти вспыхивали время от времени, а однажды на редакционной посиделке Ирина вдруг закрыла лицо ладонью, Алевтина, только что бросившая неосторожную фразу, вскочила, стала извиняться, увела вздрагивающую от слез Ирину к себе — это потрясшее меня зрелище объяснялось просто: Ирина не меньше, а может быть, больше остальных нуждалась в поощрении. Да, здесь проходила и ее жизнь, и она требовала уважения к этой своей жизни, отдаваемой не стихам, и вдруг я понял, что она, может быть, самый одинокий среди нас человек. С того момента они с Алевтиной стали друзьями — та часто зазывала Ирину к себе домой, это было время, когда уходил Иринин муж, и я ей в собеседники не годился.

Считается, что пятьдесят лет — пора человеческой зрелости, когда, промаявшись во всех закоулках жизни, душа возвращается в тело и впервые живет с ним в относительном мире и согласии. Может быть, мое отношение к прошлому изменилось — в частности, и к тем годам, когда я работал с Алевтиной, когда недолюбливал ее и когда восхищался ею, когда презирал ее и видел в ней причину своих неудач. Когда мы думаем о ком-то хорошо или плохо — это значит, в самих себе мы пробуждаем хорошее или плохое. Невозможно, оставаясь добрым, судить о ком-то зло — одновременно судишь себя. Все, что можешь подумать о другом, — в тебе самом. Наверное, поэтому, когда я вспоминаю об Алевтине, мне становится скверно. Я скорее склонен восхищаться людьми, но и эта крайность нелепа. Рано или поздно за восхищение приходится платить, и плата бывает чрезмерной. Никак я не научусь видеть людей такими, какие они есть, — и добрыми, и злыми, хотя и знаю, что добро в них надо поддерживать и раздувать, как огонь, а зло по возможности гасить. От добра жизнь теплее, но только как разобраться, что есть что?

Да, Алевтина любила помогать. Помощь другим — это была ее стихия. Она сидела в засаде, чуть не выхватывая у тебя просьбу, провоцировала ее, если тебе было неловко просить или ты решал обойтись собственными силами. А если ты обходился, упрекала — с ней вышло бы проще и быстрее. Если ты вовсе не просил, она подозревала тебя в ненадежности, неверности, гордыне. Ей нужна была твоя просьба, чтобы привязать к себе, ей нужен был ты только в одном качестве — верного ей человека. Тогда она чувствовала себя уверенней.

Я только заикнулся о кооперативной квартире, как она, схватив трубку, принялась названивать. Пусть из этого тогда ничего не получилось, но самый порыв я не могу забыть. Казалось, она хотела устроить чужие жизни лучше, чем они были устроены, а для этого она должна была проникнуться мастью каждого, понять из его

нутра, что ему нужно, — потому что самому ему могло показаться, что он нуждается в чем-то другом... Она любила поговорить «за жизнь», но чтобы не она, а ты был перед ней нараспашку.

— И ты распахивалась? — спрашивал я Ирину.

— Сколько раз, — вздыхала она. — И все-таки нельзя так жить, считая, что тебе по гроб обязаны. Добро надо делать незаметно и бескорыстно. А получается, что во всех ее добрых делах корысть...

— Какая?

— Не знаю. Я не знаю...

И вот теперь она ходила в обнимку с Алевтиной, как затравленная девочка в детсадовской группе, которую наконец воспитательница приблизила к себе.

Потом завертелось вокруг Идеи. Идея Ивановна, рано погрузневшая ровесница Алевтины, привычно, как ни в чем не бывало, утиным шагом, ходила на работу, проникновенно здоровалась со всеми, разве что стала рассеянной и могла не сразу расслышать, что к ней обращаются. Но вскоре все равно стало известно, что от нее ушел муж. Выяснилось также, что у Алевтины было с ним тяжелое объяснение, и что он вел себя по-хамски и посоветовал ей не совать свои нос в чужие дела. Алевтину это оскорбило страшно — это она, когда он болел, устраивала ему консультацию у лучшего в городе гастроэнтеролога, она же отпустила тогда Идею на две недели, чтобы та дежурила у него в больнице, а в таблице поставили рабочие дни... — теперь этот неблагодарный, неблагодарный человек оскорблялся ее попытками удержать распадающуюся семью.

— Нет, Аля, — мягким, всепрощающим голосом поправляла ее Идея, — нельзя сказать, что он неблагодарный. Он просто устал с нами. Я вижу, что я его раздражаю. Ему надо отдохнуть от нас, уехать куда-нибудь, может быть, в Трускавец...

И Алевтина достала ему эту чертову путевку, позвонила, чтобы сам зашел и взял — а он послал ее непечатным словом. Так что пусть не удивляется, если на работе у него вскоре начнутся большие неприятности — письмо в партком института было у нее в руках, и хотя Идея, написав это письмо в минуту слабости, теперь мягко просила его вернуть, Алевтина только ярилась:

— Бабы вы, бабы! Креста на вас нет! Ты думаешь, ты добрая? Нет, это называется иначе...

— Но он отец моей дочери, — вежливо стояла на своем Идея.

— Не волнуйся, — усмехалась Алевтина, — он и останется отцом, если его хорошенько потряхнут.

Но потряхнуть мужа Идеи так и не удалось — неожиданно он заупрямился, и выговор по партийной линии только усугубил дело, потому что он взял и уехал в другой город и только присылал деньги дочери, хотя, по Алевтининым данным, устроиться ему по специальности так и не удалось.

Может, из-за всего этого в материалах Идеи на моральные темы появился какой-то пессимистический крен — будто человек, его природа очень плохо поддаются воздействию воспитательных факторов и что якобы все, что заложено в детстве, у взрослых людей почти не подлежит не только исправлению, но даже коррекции. Чуть ли не усомнившись в преобразующей все вокруг человеческой воле, Идея вдруг опустила руки, вот и Евсею Гермогеновичу не смогла помочь, а только запутала дело. Евсей Гермогенович преподавал в школе географию и был действительно человеком не от мира сего, ботинки носил на босу ногу и вообще производил впечатление сумасшедшего на свободе, пока не открывал рот. Но когда начинал говорить, все

становилось на свое место. Это был человек чистый, почти святой, чуть ли не ученик Вернадского. Он вернулся в город в один год с матерью Алевтины, он знал ее отца и как человек пострадавший заслужил право на снисхождение, на элементарное великодушие, которое директору и завучу школы, а за ними и двум оборзевшим теткам из РАЙОНО было в диковинку. Правда, младшеклассники любили его уроки, но старшие, вслед за своими родителями, потешались над ним, а однажды на общем собрании завуч, оказавшись рядом с Евсеем Гермогеновичем, демонстративно встала и, зажав нос платочком, пересела на другое место. Евсей Гермогенович жил совершенно один — его жена и дочь погибли во время эвакуации. На лбу у него был огромный бледный шишак, наливавшийся кровью, когда Евсей Гермогенович волновался. Он месяца два ходил в нашу редакцию к Идее. Мы не могли ему помочь прямо, через свою газету, так как отвечали только за комбинат, а материал, который Идея по просьбе Алевтины подготовила для городской газеты, оказался вроде однобоким, тенденциозным, факты непроверенными, и вышло, что Идея подвела и Евсея Гермогеновича, и Алевтину, и ее друга в горькоме, который договаривался с редактором городской газеты, — это-то и убивало Алевтину, так что она целую неделю глотала валерьянку, еще больше сутулилась и не глядела ни на кого, словно ей наплевали в душу.

А от старикана Алексея Алексеевича все-таки пришлось избавиться раньше срока. Этот А. А. только с виду был тихоня, человек якобы сам по себе, ее-то уж — для этого не надо было быть психологом — он точно ненавидел. И началось это пять лет назад, когда партком рекомендовал редактором газеты ее, Алевтину. Да и надо было что-то делать — газета разваливалась на глазах, а прежний редактор Василий Данилович, как и несчастный Алексей Алексеевич, тоже жил от стопки до стопки. Нет, она не спорит, Василий Данилович был когда-то талантливым журналистом, но началось новое время, а он так и не смог подняться вместе с ним. Как честный человек он должен был бы сам явиться в партком, сказать, что не справляется, что не может, что болен, что пусть поставят кого-нибудь помоложе, поострее. А он тянул резину, запираясь каждый день, чтобы отдать долг своей главной страстишке. Но от жизни не запрешься, жизнь опередила его, ушла вперед, а газета осталась прежней, суконной, сугубо производственной, по сути — техническим листком, и это когда моральный фактор стал играть столь важную роль. Алевтина долго терпела — ей хватало работы в отделе, во главе которого ее недавно поставили, но и ее терпение лопнуло, и в один прекрасный день, когда редакторский кабинет снова закрылся перед ее носом — «Отдайте секретарю», пробурчал Василий Данилович вместо того, чтобы самому взять и прочесть, — когда дверь захлопнулась, она решила — хватит, и двинулась напрямик в партком. В парткоме была одна Валентина. Наверно, это все и решило — секретарем ее избрали недавно, редактора она, по сути, не знала, а старых членов парткома, его защитников, не оказалось на месте — двое болели, один был в отпуске. Валентина тут же позвонила в редакцию. Ей ответили, что редактор в райкоме.

— Врут. Он у себя... — шепнула Алевтина.

— Проверим... — Валентина встала, решительно одернув на себе финский костюм.

— Я не пойду с вами, не могу... — обмерла Алевтина.

— А я об этом и не прошу.

Так что Алевтина не знает, как там дальше разворачивались события. Только известно, что Василию Даниловичу все-таки пришлось открыть дверь новому секретарю парткома...

Алексей Алексеевич не мог наверняка знать об Алевтинином визите в партком, но о чем-то догадывался — иначе за что бы ему так люто ее ненавидеть. Как раз по отношению к нему она вела себя лояльно — иначе он не продержался бы и года, когда она стала формировать свой собственный коллектив, коллектив единомышленников.

...И вот Алексей Алексеевич явился в редакцию с побитой физиономией. Нетвердо обойдя стулья, он встал перед ней и, словно обвиняя, объявил, что подвергся нападению хулиганов. Но через два дня на него пришел штраф из вытрезвителя, и тут уж она была бессильна. Она еще пробовала его защищать, но партком занял твердую позицию. Трудоустроили его тут же, на

комбинате, в отделе НОТ, по крайней мере, регламентированный рабочий день — хочешь не хочешь, подтянешься...

А с Валентиной они стали подругами — как-то сразу, чуть не с первой встречи, потянулись друг к другу, да и судьбы их кое в чем совпадали... Их даже путали по именам. Она не знала Валентину, когда та была просто ткачихой, впрочем, не «просто», а одной из лучших в отрасли. В их же газете можно было отыскать снимки, где секретарю нынешнего парткома лет на десять меньше, но и в свои тридцать семь она была хороша собой, очень высокая — может, из-за роста и осталась холостой, — стройная, с твердым северным лицом и льдисто-голубыми глазами. Уже секретарем парткома Валентина окончила Высшую партийную школу, а Алевтина еще помнит, как та стеснялась своей «необразованности», и приходилось носить ей из дому книги, «какие нужно знать». Те годы особенно сблизили их, Валентина сама признавалась, что многим ей обязана. Теперь-то она другая, не то что забыла, помнит, конечно, — но не хотела бы, чтобы ей об этом напоминали, да Алевтина и не напомнит, уважает чужую гордость, но право быть на «ты», право говорить по душам, право просить, даже настаивать — этих прав теперь у нее не отнять, а больше ей ничего и не нужно, в конце концов у каждого из них свое дело, свой участок работы. Она обращалась за помощью, только когда это нужно было для общего дела, для всех. Валентина могла и заупрямиться, что-то вдруг на нее находило, и тогда надо было немедленно отступить, иначе загубишь дело, но Алевтина не помнит случая, чтобы в конце концов не добились своего. Когда Валентину взяли на работу в райком, стало не труднее, а даже легче им обоим; прежние их отношения, по мере того как каждая завоевывала все новые позиции, рано или поздно могли привести к столкновению, а теперь наоборот — им опять не хватало друг друга, и Алевтина охотно приходила к ней в кабинет, рассказывая и о газете, и о фабрике то, что иным путем Валентине уже было бы трудно узнать.

Так что когда Ксаша возникла в очередной раз, заявив, что знает о «темных делишках», махинациях с автобусом, который они брали для поездок, да липовых премиях для оплаты «мероприятий», она была спокойна, хотя и противно было все это выслушивать. Девчонка явно переоценила свои возможности, да и вряд ли она сама пошла на конфликт; кто за ее спиной — Хомяков? Бурский? — тоже мне, заговорщики...

Тут еще лучшая активистка Кирпичева со своим Парижем... Принесла заметки, чтобы напечатали: «Париж — город контрастов». Чья это шутка — не Богословского ли? — с одной стороны, богатые французы, с другой — бедные туристы. Но у Кати Кирпичевой свой взгляд на вещи. Публиковать было нельзя — бред. Катя обиделась. Предложили ей выступить перед редакцией, Антон взялся записать — вдруг что-нибудь прорежется. Не прорезалось. «В общем, у них все хуже, метро хуже, кормят хуже — дают вот по такусенькому ломтику хлеба, так наши ребята с буханкой ходили. Вместо борща — супчик. Магазины, правда, лучше — но цены... вы меня простите. У нас гораздо дешевле. Повезли нас в собор — как это, ну... в общем, бога матери. Старый такой, закопченный. У нас и то собор покрасили — стоит как игрушка. Потом встреча с молодежью была, с прогрессивной организацией. Ну, все мы как положено — девочки на каблучках, в белых блузках, в юбочках, у мальчиков белые рубашки, костюм, галстук, а они... вы бы посмотрели — кто в чем, штаны в заплатках, рваные тапочки... Прямо больно за них. Но «Катюшу» пели здорово, узнали, что я Катя, а мы слова забыли, даже неудобно».

И все-таки она была в Париже, да и Валентина была два раза, а никто из нас не был.

Валентина чувствовала свое превосходство — с годами становилась уверенней. Могла позвонить, спросить:

— Ну, что тебе привезти?

— Едешь? — спрашивала Алевтина со сложной интонацией, в которой были и радость за подругу, и зависть, и едва уловимый намек, что могли бы уже и ее включить в делегацию.

Валентина ездила каждый год. И рассказывала не так, как Кирпичева. Много рассказывала. Что с Эйфелевой башни Париж похож на человеческий мозг. И что на улице все парижане как бы знакомы друг с другом. И что наши женщины красивей французенок, если б их еще одеть да сделать макияж... Больше всего ее потряс Лувр — Мона Лиза.

— Как ты думаешь, она добрая или злая?

— А что?

— Ты иногда так улыбаешься.

— Значит, добрая, — засмеялась Алевтина.

— Ну, ну...

И что французы любят только самих себя, свою культуру. Про нас не знают ничего, — Чекоф, Достоевски, и это все. Мы знаем гораздо больше, мы интернационалисты по крови, по судьбе.

— Чего это Кирпичеву посылали? Пограмотней не нашлось?

— Ничего, выучится, девушка она правильная.

Алевтине давно хотелось собрать у себя редакцию — на день рождения решила. Ввалились, один другого красивей, подарили корзину цветов — и это в феврале! — она выставила старый фарфор и серебро, чудом сохраненные теткой. После гуся стали делать жженку — в огромной фарфоровой чаше подрагивал, бликовал винный компот с дольками апельсинов, яблок, с гвоздикой, мускатным орехом...

— Это пунш, это называется пунш — «и пунша пламень голубой»! — кричал сильно раскрасневшийся Жора.

— Или глинтвейн! — вставлял Степа Осинин.

— Или гог! — пел Антон.

Хозяйка разливала серебряным ковшиком по тяжелым керамическим кружкам.

— Ну, Версаль! — кричал Жора.

Среди тостов был один — за самую красивую женщину.

— Это за кого? — Она была убеждена, что за нее, потому и спросила. Оказалось — за Ирину. Ну, это уж был перебор. Резануло обидой. А через минуту почувствовала, что обида смертельная. Кто же крикнул, что за Ирину? Антон? Борис? Нет, Борис уже ушел. Антон...

А потом случилось что-то страшное. Она была на кухне, варила кофе, когда услышала грохот и звон посуды. Бедная матушка высунулась из темной комнаты:

— Тиночка, что там происходит?

— Спи, что ты, в самом деле! — прикрикнула на нее. А в комнате с меловым, искаженным, как маска, лицом стояла возле стола Елена Цацко — глядя перед собой безумными глазами, хватала тарелки и, подняв над головой, бросала на пол. Никто ее не останавливал.

— Что ты делаешь, Лена, опомнись! — вырвала тарелку, толкнула в грудь — та повалилась в кресло, схватившись за подлокотники, бурно дыша и глядя перед собой теми же невидящими глазами... — Да помогите ей!

Подскочил Венька, плеснул в лицо минеральной воды, перенесли на диван, расстегнули ворот платья. Алевтина унесла на кухню то, что осталось от сервиза — четыре тарелки из двенадцати. Осколки остальных они подбирали с Ириной по всему полу, обрезала палец, но не почувствовала боли — внутри все дрожало.

— Не могу понять, что это с ней?

— А я догадываюсь, — ответила Ирина.

Оказывается, за столом было брошено много всяких слов — Алевтина и половины не слышала. Кто же вспомнил — да, Венька, Венька вспомнил, что Кадамов вдруг спросил напрямик у Елены: «Неужели вам не обидно заниматься ерундой?» Что он имел в виду? Газетную работу? Да как он смел!

— Нет, — сказала Ирина. — Борис тут ни при чем.

— Не защищай, пожалуйста.

— Это другое.

— Ну что? Говори. Что ты ходишь вокруг да около?

— Я не могу сказать.

— Нет, ты скажешь.

— Хорошо, Алевтина Георгиевна, я скажу. Только вы уж примите, как есть.

— А почему на «вы»?

— Так легче...

— Ну, слушаю...

— Я ее хорошо понимаю. Со мной так тоже было, помните?

— Что я должна помнить? — хотя, конечно, она вспомнила ту Ирину истерику, когда позволила себе при коллегах усомниться в ее редакционном патриотизме. Ну, та ведь сама и признавалась...

— Так всегда получается, когда один просит: скажи мне все. А другой все говорит. А потом расплачивается за откровенность.

— Иди. Не хочу больше с тобой говорить.

— Куда идти?

— В комнату...

— Я лучше совсем уйду.

— Твое личное дело.

Вот так кончился ее праздник, если еще прибавить к нему бессонную ночь, но она так и не вспомнила ничего такого, что хотя бы отдаленно было похоже на предательство с ее стороны. Только и открылось, что Елена ее не любит. Но почему? Какая неблагодарность! Она взяла Елену в свою газету, поддержала в трудную минуту. Что бы та делала сейчас без нее. Мышка... Серенькая мышка. А как она подталкивала Кадамова к уходу из редакции... Это чтобы насолить. И чтобы снова стать первой. Почему все хотят быть непременно первыми? Может, Елена рассчитывала на место ответсекретаря, которое тогда получил Хомяков? Что ж, теперь — пожалуйста... Но она же не лидер — она и сама это знает. А во что превратил ее муж — в служанку, подносящую согретые домашние тапочки. Она так и стелется перед ним. И вообще обожает услужить сильному полу. И еще эта вечная левизна... Какие-то типы из непризнанных гениев, патлатые авангардисты, худосочные пииты, вечно она носится с чем-то, подолгу торчит у Васенко с какими-то якобы архивными фотографиями. Все это глупо. Правда о времени уже была сказана. А Елене все мало. И с мужиком своим не может найти общего языка. А тот тоже хорош — возьми и ляпни при всех: «Была бы ты хоть немного похожа на Алевтину...» И все-таки надо подумать насчет поста ответственного секретаря. Что ни говори, Елена первая из претендентов... Да и нельзя оставлять ее у себя за спиной...

Нанесенный ущерб Елена возместила — притащила Алевтине дорогой гэдээровский чайный сервиз, но и без сервиза, к всеобщему удивлению, отношения их не только не ухудшились, а наоборот — словно переживали второе рождение, виновником же происшедшего негласно считался Антон, он тогда сидел за столом рядом с Еленой и не остановил потерявшую над собой контроль женщину.

Я ушел, потому что спешил домой; когда у нас родилась дочь, я вообще месяца на два выпал в осадок. Малышка оказалась крикушей, не давала спать по ночам, и в редакции закрывали глаза на мой свободный режим. Вот когда я оценил Алевтинину щедрость — во сколько бы я ни пришел, она неизменно встречала меня доброжелательной улыбкой, неизменно справлялась, как у нас там дела, просила показать дочь, когда это будет можно, и по легкой тени на ее лице можно было лишь догадываться, что она опять задумалась о своей несложившейся личной жизни. Долго, очень долго она не спрашивала меня, сдаю ли я что-нибудь в номер.

Первым фотографом нашей дочери стал Сеня — Сеня Васенко, но все не проявлял пленку, потом у него не было нужной фотобумаги — наконец он позвонил мне:

— Че сидишь там, сидишь там че?

— А что? — не понял я.

— Печатаю я, печатаю твою дочку. Приходи, весело будет. Придешь, а?

В Сенин «бункер» можно было попасть, только обойдя по периметру всю территорию комбината, он и помещался снаружи — Васенко добился, чтобы сделали отдельный вход. Так что он был еще более вольным казаком, чем мы, не знавшие проходной. Бункер этот — две обширные подвальные комнаты — стоил того, чтобы его описать. Здесь все было устроено соответственно Сениному жизненному идеалу. Когда я затеял возню со вступлением в кооператив, он принял меня за человека хваткого и знающего и все выпытывал, как я собираюсь ее отделать, особенно свой рабочий кабинет. «Значит, стену ты обшиваешь фанерой, да? А если досками, досками если? У них это... текстура шикарная, если политурой покрыть, а потом лачком... У тебя какой лак, польский да, польский? А потолок? Я был у одного кореша, у него потолок — черный. Понял, да? Черная гуашь. Продается она, плакатная, недорого. Плакатной можно купить. Нравится черный потолок? Сила! Кажется, что выше. Но я хочу обшить этой... пробкой. Пробковыми плитами с дырочками. Я видел в одном машбюро — сила! Звукоизоляция! Может, без дырочек? А бар, бар у тебя будет?» И вот теперь, оказавшись, впервые за два года, у него в лаборатории, я обнаружил, что тот забытый разговор не был для Васенко пустым звуком, что многое он воплотил в жизнь, так и не дождавшись, пока я возьмусь за отделку своего кабинета в еще не полученной кооперативной квартире. Это был потайной райский уголок холостяка, живущего в мире дважды, хотя и одновременно, — одной жизнью для семьи, где были жена, мамаша и дочь на выданье, и другой жизнью — для самого себя. Как он жил для себя, никто не знал, — при всей своей болтливости Васенко о себе рассказывал редко и с неохотой, но по некоторым приметам можно было догадаться, что Сеня большой эпикуреец. То, что он позвал меня к себе, было знаком безусловного доверия, тем более, что давнишнее мое нежелание продолжать разговоры о декоре квартир Васенко отнес к моей якобы хитрости, черте, которую он в людях ценил. — Ну как? — спросил он. — Ничего, а?

Мне не терпелось посмотреть, как получилась на фотографиях моя четырехмесячная дочь, но я понял, что должен, просто обязан поощрить его «холостяцкое» вдохновение, потому что после хитрости по Сениной шкале шла образованность, точнее, культурность, а ее-то Сене, как он и сам признавал, не хватало, и тут он поносил Гитлера и войну, которая выдернула его со второго курса строительного техникума, а после войны было уже не до учебы — семья, дочь. «Я Машку-то свою, Машку, жену, на коротком фитиле выиграл, понял, да? — И, видя, что я с натугой пытаюсь осознать некое подобие двусмысленности, тряс головой. — Не, правду говорю. Фитиль, знаешь, шнур такой, к толовой шашке. Киножурнал есть такой, помнишь: бабах! У нашего взвода — разведчиками мы были, разведчиками — до фига этих шашек. И повадилась к нам сестренка одна, понял, да? — у нас хорошо, весело. Разведчики — хлопцы боевые, да и я был что надо. Только она

со всеми одинаково — «мальчики, мальчики»... Какой я ей мальчик, мне уже за двадцать было. И вот мы поспорили, чьей она будет, — никто не хочет уступать. Ну, взводный наш, Филипчук, и говорит: «Давай шашку». Вышли, значит, на дорогу, табуреточку вынесли. Хорошая была табуретка, белая, немецкая, в Германии это было, в Германии. Ну вот, двое садятся на табуретку... Нет, это потом табуретка, сначала ящики были. Садятся, значит, спиной к спине, а внизу эта толловая шашка, понял, да? — и фитиль горит. Фитиль мокрый, вонища... плохой был фитиль, немецкий. Ну вот, кто усидит, тот и выиграл. Я всех пересидел — Филипчука последнего. Он орет мне из-за плеча: «Ложись, сука! Щас взлетим оба!» — А я сижу — очень уж хороша Машка была. Он и дернул в кювет, а потом уж я. А сзади как жажнет, и мне это... ножкой от табуретки по затылку. Ничего, нормально. Только заикаюсь немного, заикаюсь, понял, да?»

Сеня подошел к сооружению, которое раньше называли секретером, повернул ключ, средняя крышка стала медленно опускаться, щелкнула, и в нутре, отделанном зеркальными ромбиками, вспыхнул свет, а откуда-то с потолка обвалилась музыка.

Хочешь, выпей, я не пью, — сказал Сеня, кивая на батарею бутылок, — держу, понял... — он вдруг засмутился, — для друзей. А тут, смотри. — И он отдернул полог, за которым я предполагал увидеть увеличитель, проявительскую технику и прочее... — там, в елочном мигании огней, парила широкая с валиком тахта.

— Светомузыка. Красиво? Реле поставил. Хорошее реле. Будешь делать, подарю. Нравится?

Огоньки гирлянды в такт музыке взбегали по стене, прыгали в сторону изголовья и ныряли под валик.

— Устанешь, наработаешься — приляжешь... отдохнешь, — сказал Сеня, щурясь на огоньки.

— А глаза не устают?

— Устают, — вздохнул он и выключил гирлянду, погрузив нас в темноту, в которой слабым дневным отблеском печально блеснула его героическая лысина.

В июне мы полетели в Ленинград, а оттуда в Каргополь. Почему-то Алевтине страстно хотелось соединить столичное с провинциальным, исконно русское с европейским. Кроме Веньки, учившегося в Ленинграде, и Ирины, остальные знали Северную Пальмиру только по литературе, по открыткам да кинокартинам. Мы прилетели вечером и едва устроились по турпутевке в школе на какой-то похожей на нашу окраине, как Алевтина с Венькой потащила нас к Неве. Поэтому первое мое впечатление от города было ночным, точнее, вечерним, поскольку ночь так и не наступила — в заволоченное фиолетово-розовой дымкой небо уходили сизые громады зданий, а потом впереди поднялся знакомый каждому силуэт Петропавловского собора, ангел на шпиле проплывал в золотисто-медной полоске зари, внизу молча и мощно катила Нева, обдавая чуть болотистым духом, и слева и справа, как призраки, стояли мосты, подняв выше дальних крыш свои разведенные пролеты. И было почему-то тревожно... Но наутро тот же город грянул в трубы всех своих белых колоннад, и с одного из мостов открылась такая панорама, что я вдруг почувствовал — больше ничего мне на свете не надо, только стоять здесь, вдыхая тинный запах воды и глядя, как носятся над ней чайки, прилетевшие с Финского залива.

И вовсе было безумием улетать в какую-то деревушку, но мы летели на самолетике-«этажерке» невысоко над болотами, озерами, и круглые купы деревцев внизу становились все мельче, прозрачней, тут еще только начиналась весна, и земля была обрызгана нежной акварелью зелени вокруг синих озерных луж и лужиц, бледно-палевых на мелководье, а потом внизу, прямо на берегу большого озера, качнули куполами церквушки, под нами, оставаясь на месте, развернулась всеми своими гранями колокольня с облезлой кровлей, замелькали верхушки деревьев, понеслись навстречу серые серебристые скаты крыш, мы нырнули между ними и оказались на земле. После треска мотора было тихо, по-деревенски лаяли собаки, крикнул петух, и над полем аэродрома снова залились жаворонки.

В местном краеведческом музее девушка-экскурсовод, смущаясь, северным говором рассказывала, какие звери водятся в местных лесах, а Веня, молитвенно сцепив перед собой кончики пальцев, тихо спросил:

— А магазин у вас тут водится?

— Какой магазин? — не сразу поняла она.

В местной газете, в которую они с Алевтиной ухитрились дозвониться из Ленинграда, нам устроили встречу, на радостях ответственный секретарь взялся открывать бутылки с лимонадом зубами и сломал зуб, но, хоть и сокрушался ежеминутно и ощупывал указательным пальцем пролом, все равно поехал с нами на катере по озеру Лача, колхозные рыбаки вынули из сетей с десятков сигов, и на диком берегу у заброшенного сарая мы рубили сухостой, разжигали костер, и на наших глазах в подвешенное над костром ведро, в закипающее варево ответственный секретарь вылил целую поллитровку — и такой ухи мы никогда в жизни не едали.

— Дай я тебя расцелую! — рвалась к ответсеку наша Галина, а душа любой компании Венька выступал со своим коронным номером. «Пошел я круто — пока, пока! — прищурившись, встряхивал он головой. — Прямым маршрутом по кабакам...» — будто и впрямь было в нем что-то горестно-забуженное.

А когда мы вернулись домой, Галина сообщила по большому секрету, что теперь между Алевтиной и Венькой «любовь», и что не зная бы ей ничего такого, ежели б она не проснулась глубокой ночью в каргопольской деревянной гостинице по причине дикой жажды... Однако новость была настолько нелепой, что ее никто всерьез не принял, хотя и стали замечать, что что-то действительно изменилось: оба где-то задерживались по утрам — придет Алевтина, спрашивает, где Венька, а тут и он сам, через три минуты, или наоборот — придет Венька и интересуется, нет ли Алевтины, и вид у него уже усталый, хотя день только начался. А кто-то даже видел, хоть подглядывать грешно и стыдно, как они шли утром по улице, на расстоянии пятидесяти метров друг от друга, но связанные такой энергией отношений, что остальных прохожих, разделявших их, как бы не существовало, и лица у обоих светились. А потом они стали ссориться за закрытой дверью, и Венька, сжав кулаки, весь красный, выбегал в общую комнату и немым ртом артикулировал ругательства, как на телеэкране с выключенным звуком, а потом снова наступила тишь и гладь, и Галина шепнула, что «любовь» прошла.

Венька, Венька — самая неуловимая, самая переменчивая, почти эфемерная фигура среди нас. Всех остальных рано или поздно раскусывали и ставили на полочку в нужном месте, а он все перелетал, перевоплощался, все размахивал длинными руками, как крыльями, маленький старичок-лесовичок, болотное чудо, неведомая птица, то ли гриб боровик, то ли бледная поганка. Мы его любили — он был самый остроумный среди нас, самый вежливый и самый деликатный, он был гениальный правщик, он все исправлял, переправлял, переправлялся, надолго приклеиваясь к стулу, едва торча над столом своей кудлатой бороденкой, и глаза его, круглые, серенькие, как северный лишайник ягель, все время будто просили о чем-то — то ли о снисхождении, то ли о чуде, то ли о том, чего он и сам толком не знал.

Они просили не обижаться, если он и обидит — жизнь сложна, она и виновата, а не он, маленький, не очень счастливый человек, у которого ведь тоже была когда-то своя мечта. Он ведь тоже писал стихи и мог, стукнув заветным ящичком стола, вынуть синий коленкорный сборничек стихов, написанных членами литературных объединений. Там были и два его, говорят, очень неплохих, даже отличных, много лучше, чем у остальных, хотя они-то и выбились в поэты, а один добрался аж до московского правления. И он, и он бы мог... Да вот не случилось, закрутило в другую сторону, развернуло, швырнуло черт знает куда, брякнуло о местный микрофон, и стал он не поэтом, а говоруном-корреспондентом фабричного радиоузла, попав к железной рабфаковке Соньке, перекусившей пополам с дюжину подсылаемых ей на замену литературно одаренных молодых людей с высшим образованием, — и уже держала она Веньку за бочок своим железным зубом, и собиралась уже выплюнуть, да случившаяся рядом Алевтина выхватила, залечила, привела к себе — потому что даже в таком университетском городе, как наш, непросто найти

верных тебе людей. Сколько их перебивало рядом с ней — верных и не совсем, — а он продержался дольше других...

С детства Алевтина ненавидела кладбища, кресты, плиты. Камень-то что помнит? Потому и прикрикнула, чтобы не ехали с ней, — они так и остались виновато стоять подле ее дома, только Кадамова и Васенко со слабым удивлением разглядела она в сумрачной тесноте автобуса, забитого провожающими. Посредине, у всех в ногах, под крышкой, заваленной холодно пахнущими хризантемами, осенними, зимними цветами, лежала мать, последняя из родных по крови людей на этой земле, матушка, родной с детства любимый запах которой еще надолго останется в квартире, в ее комнате, в ее подушках — она так и умерла оптимисткой, учительша деревенской школы, участница ликбеза, что делать — лес рубят, щепки летят, себя она безоговорочно причисляла к интеллигентским щепкам, щепочкам, вроде тех, что вместе с дочерью пускала по ранне-апрельским ручьям, и вдруг одна из щепочек скрылась в водовороте — и это тогда дочь озадачило — разве так бывает? — и мать сказала, что бывает, и что на реке еще больше водоворотов, и одной лучше не купаться, она и не купалась, была послушной, училась лучше всех, ее ставили в пример, и еще она была звеньевой отряда... но ничего не помогло — ни ее портрет в «Пионерской правде», ни ее Артек, ни ее любимая песня «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих», все однажды обрушилось, с нее как дочери «врага народа» сорвали галстук и нашивку на правом рукаве, и она бросилась из школы домой, но мамы уже не было, а была незнакомая женщина, взявшаяся нивесть откуда, ее двоюродная тетка, и та все торопила, прижимая платок к красным от слез глазам; тетка тогда взяла только тяжелый сервиз и серебро — на черный день, и в поезде сунула ей мятый листок бумаги, и там прерывистым, но все же маминым почерком было написано: «Доченька, не плачь, слушайся тетю Тату, я скоро вернусь». И она вернулась, как обещала, хотя и не скоро. А отец ничего не обещал, но и его она ждала, пока уже вместе с матерью не узнала, что его нет, давным-давно нет на этом свете. А кроме отца им почти все вернули, матушке восстановили партстаж, назначили пенсию, и ее сердце пробилося дольше, чем она сама ожидала.

На кладбище, когда говорили речи, кто-то тронул Алевтину за рукав, и она снова удивилась унылой физиономии Васенко, которому было так несвойственно печалиться.

— Фотографии будем делать? — спросил он.

В редакции жизнь почти замерла — не шутили, не смеялись, не гремели стульями. А когда появилась Алевтина, не решались на нее посмотреть. Но летучку все-таки провели — позвонила, чтобы обязательно проводили, даже без нее, — и Ирина, чей материал был лучшим за неделю, так и не услышала от редактора должной похвалы. Всем отсутствие Алевтины оказалось в минус — без нее не хотелось ни придумывать, ни исполнять, а Венька ходил из комнаты в комнату и растерянно разводил руками: «Ребята, запас на нуле. Все выбрал. Даже из корзины. Ну хотя бы полполосы. Не могу больше ставить шпек».

А вскоре после этого Алевтине предложили пост редактора вечерней городской газеты.

Я в зеркале иссохший лик
Увидел пред собою.
О, если б бог так в некий миг
Мне сердце сжал рукою,
Чтоб, изменившие сердца
Похоронив глубоко,
Спокойно ожидать конца
И отдыха без срока.
Но время, сердца вырвав часть
По незажившей ране,
В нем оставляет ту же страсть
У бытия на грани.

Томас Харди. Я в зеркале...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Только недавно я понял, что люблю свой город. Видимо, с годами он стал мне ближе. В нем легко затеряться, смешаться с толпой, особенно в старой его, людной части, где магазинчики, кафетерии, занявшие первые этажи, где за новыми вывесками на стенах еще можно прочесть проступающие сквозь краску старые названия, где единственный в нашем городе драматический театр, а чуть поодаль университет, глядящий своими высокими окнами на бульвар, за которым в городском парке все те же лебеди на поверхности пруда, вернее, — пятое-десятое их поколение; битые часы они охорашиваются на берегу за проволочной сеткой, выщипывая лишние перья, пух, чтобы все было гладко, ровно, по фигуре — совсем как люди. Люблю я ездить и в новый район, незаметно, хотя и на моей памяти выросший за последние двадцать пять лет, — там сонно и тихо, как в детстве, фонари, похожие на стеклянные шары, какими удерживают край сети на поверхности моря, в сумерках сквозь плетение ветвей догорает закат, а ниже, между светящихся шаров, словно русалки, проплывают юные женщины в сопровождении стройных юношей из нового университетского общежития, и, хотя я отношу себя к среднему поколению, я уже смотрю на них издали — то ли завидую им, то ли жалею их — все равно им придется отвечать на вопросы, что стояли и передо мной, и как бы я сам ни отвечал, моя подсказка едва ли им поможет. Еще я люблю, доехав на троллейбусе до старой окраины, взобраться на высокий, поросший тополями вал, откуда виден чуть не весь город; по другую сторону вала начинаются поля, за полями темнеет полоска леса, а за ней неслышно взлетают и садятся самолеты, но меня уже не так тянет в дорогу, как тянуло когда-то, я, кажется, все нашел, и если есть еще на земле места, к которым прирастает сердце, пусть их найдут другие.

Ее вызвали в горком, прямо к первому секретарю. Рядом с ним стоял Саша, дивный, замечательный друг Саша, ее опора, ее добрый ангел, уже столько лет поддерживающий ее, как поддерживали друг друга их отцы.

— Ну что, Алевтина Георгиевна? — протянул ей руку Первый, невысокий, моложавый, с седой волнистой шевелюрой. — Полагаю, вы догадываетесь, зачем мы вас сюда пригласили?

Она замешкалась, не зная, как ответить, и он оглянулся на Сашу. Тот, смешавшись, кивнул.

— Так... — снова весело глянул на нее Первый. — Справитесь?

— Я постараюсь, — скромно сказала она.

— Стараться мало, надо уметь.

— Я сумею, — как она ни сдерживалась, в голосе прорвалась нотка страсти.

— Смотрите! — погрозил Первый пальцем. — Мне тут наговорили про вас столько хорошего, что у вас нет другого выхода, как только оправдать эти слова. А не справитесь, тогда извините... — продолжая улыбаться, сказал Первый, и почему-то холодок прошел у нее между лопаток.

— Она справится. Мы поможем, — кашлянув в кулак, сказал Саша.

— Ну что же, идите принимайте дела, — сказал Первый, уже выключив внимание, отчего даже глаза его переменялись. — Александр Николаевич, введите нового редактора в курс дела.

Такое бывает раз в жизни, и далеко не в каждой.

— Ну, что я тебе говорил... — улыбался Саша, прихрамывая рядом по ковровой дорожке.

— Не могу, — опустила она голову, — я сейчас заплачу.

— Ну-ну, — сказал он. — Только не здесь. Здесь тебя не поймут.

— Не бойся, — ласково тронула его руку. — Саша, дорогой, что мне сделать для тебя?

— Ты уже сделала... — сказал он. Она вопросительно глянула, — ...хорошую газету. Сделай еще одну. Даже если тебе придется положить на это жизнь.

— Я ее отдаю, — счастливо засмеялась она.

Наутро она проснулась другим человеком. Ей было тридцать шесть, и она родилась заново.

Первой позвонила Валентина.

— Конечно, знаю! — чуть ли не обиженно пропела она в трубку, будто в райкоме все и начиналось. — Что ж, я тебя поздравляю! — В голосе ее больше не было прежнего, едва уловимого оттенка превосходства. Как это все точно обозначается. — Заглянешь? У тебя ведь теперь машина... Или лучше я загляну.

Вот такой был разговор, скорее монолог, потому что Алевтине оставалось только поддакивать, но объяснил он в ее новом положении многое.

Потом позвонил Веня, поинтересовался, когда?

— На следующей неделе, с понедельника, — сказала она.

— Нормально! — присвистнул он.

Веню она, конечно, брала с собой, и он об этом знал.

— Как ты думаешь, нашим известно? — спросила она.

— Думаю, это известно всем, — хихикнул он.

— Черт возьми! — вырвалось у нее, но это было деланное недовольство.

— Решила, кого оставляешь вместо себя?

— Тебя...

Трубка молчала.

— Что? Язык проглотил? — усмехнулась она.

— Ничего себе шуточка... — прорезался из небытия Венькин голос.

— Ты, конечно, рад от меня отделаться.

— Я что... Где посадят — там и сидю.

— «Сидю»... Тебя посадишь — ты вскочишь. Знаешь, как тебя Жора вчера обозвал? Веником.

— А что... ничего. В смысле?

— Шибко метешь. Все его материалы — в корзину...

— Если насчет отчета с последнего производственного совещания, — деланно взъярился Венька, — то я — не я: приду, выну из корзины, на лоб ему наклею. Пусть народ смеется.

— Что, так плохо?

— То есть... То есть за гранью.

— Елена пока останется, врию.

— Что?

— Елена. Я подумала и решила.

— Гениально!

— Еще бы, — сказала она.

А редакция наша притихла в ожидании. Маховик газеты, раскрученный Алевтиной, — это она засиживалась допоздна, а потом неслась в типографию и торчала там, пока набирали, верстали, тискали, вычитывали, подписывали к печати, а если дежурил Венька, а раньше Хомяков, все равно созванивались с ней, и она давала указания, пока, уже около одиннадцати вечера, не позволено было расслабиться, чтобы утром снова и на целый день, при том, что никто из нас не дежурил, — так вот маховик наш почти остановился, делая последние нерешительные обороты. Новость мы узнали от Игната Бурского — голос его по телефону был ироничный, но и за иронией угадывалась досада.

Наконец они появились — Венька скоморошничал, а Алевтина была, как невеста на выданье, и ей стоило немалых усилий оставаться деловой, серьезной. Тут же собрала всех — мы замерли, но она заговорила о другом: что это никуда не годится — работать с колес, что это прямой путь в тупик, что надо перетрясти наши рубрики, оставив только действенные, и если необходимо — придумать новые, что газета, оставаясь верной стратегическому направлению, должна видоизменяться и по форме и по содержанию — как изменяется жизнь вокруг. На последних словах мы переглянулись, но она и бровью не повела. Тут же стали набрасывать график сдачи материалов, Венька записывал, каждого обязали не позднее послезавтрашнего дня принести в зубах, в когтях, на хвосте по одному авторскому материалу, а к понедельнику по одному своему, не меньше чем на двести строк...

И вдруг померещилось, что никуда она не уходит, что она с нами, и жизнь продолжается, что на предложение она ответила отказом и, наверное, поступила правильно.

— Ну, Алевтина Георгиевна, — первым не выдержал Жора, прокравшись к ней после летучки, — мы тут собрались вас поздравлять, на цветы скидываемся...

— С чем поздравлять? — быстро спросила она.

— Ну, как это «с чем»? — заиграл бровями Жора. — Будто не знаете?

— Ты тут мне не паясничай, лучше бы сходил к главному инженеру насчет последней оперативки.

— Па-а-нятно! — запел Жора. — Нет у вас жалости. Бесконечно далеки вы от народа... — Постучал крепкими пальцами по столу. — Так как насчет «Вечерних огней»?

— Жора, изыди! — нежно сказал Венька.

— Одно слово: да или нет?

— Если уйду, — остро глянула Алевтина, — я тебе первому об этом скажу, договорились?

— Ура! — завопил Жора, возвращаясь к нам. — Она остается.

— Веня! — покачала головой Алевтина. — Прикрой, пожалуйста, дверь. Совсем разболтались. Никакой дисциплины.

— Не уходи, Алечка! — крикнул Жора в щель. — Что мы без тебя? Глина... Прах...

Но на следующий день подтвердилось: уходит, и Алевтина уже не отпиралась:

— Ну да, да, да, предложили.

— И ты согласилась? — сделал круглые глаза Антон.

— Я еще думаю.

— А я бы не думал.

— Ну, это ты, а это...

— Я бы отказался.

В понедельник она совсем не пришла, и кто-то сказал, что она принимает дела у бывшего редактора. И не успели мы осознать случившегося, как грянуло еще одно: теперь нами командовала Елена.

— А как же ты, Веня? — допытывался неугомонный Жора.

— Да я... — заерзал на стуле Венька, — куда мне, я не умею. Я всегда второй. Репортаж вот твой правлю...

— Хитришь, ох, хитришь... — не отставал Жора. — Ба-алыпой хитрован. Ну? — наклонился он к Веньке. — По секрету... Мне одному... — И оттопырил ладонью ухо. — У? Не слышу? — Побуревший Венька молчал. — Мать моя, что деется, что деется!

Через неделю исчез и Венька. Его место никому не предложили. Но тут случился Жоркин день рождения, они оба пришли к нему домой — редактор и заместитель редактора «Вечерних огней», и Жора вдохновенно дундел, возвышаясь над столом:

— Кушайте, гости дорогие, кушайте винегретик, не стесняйтесь! У нас еще целый таз на балконе...

Васенко щедро угощал импортными сигаретами.

— Не наши?

Он даже обиделся:

— Пока еще нет.

А потом танцевали. И Степан, и я, и Антон нарочно пришли с женами, но танцевали и с Алевтиной, и Жора долго стоял с ней на балконе, говоря за жизнь и дружески положив ей руку на плечо.

Я почему-то был уверен, что она и меня позовет, и она позвала, вскоре после того вечера, но не потому что мы вдруг с ней стали большими друзьями, хотя будут времена, когда мне покажется, что это так, а потому что энциклопедист Степа, которому она предложила место заведующего отделом культуры, неожиданно отказался. «Понимаешь, — объяснял он ей, — тебе нужно, чтобы я пахал. Все вы должны будете очень много пахать. Газета на нуле. Надо все начинать сначала, А мне, откровенно говоря, жалко времени. Это значит, я недосдам кандидатский минимум, это значит, года на три я должен отложить диссертацию. Пишу я скучно, и для тебя это не секрет». В общем, как она его ни уговаривала, он стоял на своем. Так Степа вместо своей перевел мою стрелку, и я не жалею об этом, как никогда не жалел о том, что вообще со мной происходило, — мы сами едва ли можем по своему усмотрению выбрать лучшее. Если есть хоть какая-то, пусть маленькая, цель, все остальное, как ни странно, все равно к ней приложится.

Вместе со мной Алевтина взяла и Жору — он возглавил промышленный отдел, — и началась действительно совсем другая жизнь. В тот первый на новом месте год и я, и Жора, и Алевтина с Венькой были заодно и держались вместе, потому что было трудно, гораздо трудней, чем представлялось, — не раз я вспоминал прозорливого Степу и наше веселое многотиражное сибаритство, которое определяло прежний наш редакционный стиль. К тому же мы были как бы виноваты перед теми, кто оставался в многотиражке. Алевтина заверяла, что всех, всех, кроме

«предателя Степы», со временем возьмет. А Ирина, провалявшись этот переменивший все месяц в больнице, сама без предупреждения вошла в ее обшитый полированными досками кабинет.

— Ты что? — спросила Алевтина. — Что-то опять случилось?

— Я пришла, — сказала Ирина.

— Вижу, что пришла.

— Я пришла работать, — сказала Ирина. — Ты ведь возьмешь меня.

И Алевтина, вдруг утратив всю свою дипломатию, которая только и выручала ее в последнее время, вспылила:

— Почему это я обязана брать? Все только и просят, только и просят. Куда я возьму? Нет мест, понимаешь ты это?

— Понимаю, — Ирина повернулась и пошла к двери.

— Подожди! — крикнула Алевтина. — Ты меня не поняла. Я должна подумать.

Но Ирина закрыла за собой дверь с той стороны. Ко мне она не зашла, и я долго не мог собраться с духом, чтобы позвонить ей, будто не Степкино, а ее место я занял.

Никогда еще Алевтине не приходилось так часто клясться в любви и верности, как в эти дни, и никогда еще ей не приходилось столько кривить душой: всех взять она и вправду не могла. Уже становилось ясно, что многими придется пожертвовать. Тут как бы стали обозначаться, уточняться контуры каждого из оставшихся. Скажем, Антон: привык к дифирамбам за свои экономические опусы — а ведь его залихватский стиль в новой газете не пройдет. И ее удивило, когда Борис Кадамов вдруг стал настаивать, чтобы Антона взяли. «Ты что? — сказала она. — Ты действительно убежден, что он хороший журналист?» А Венька, присутствовавший при разговоре, только жалобно смотрел на Бориса и кивал головой, подтверждая то ли его позицию, то ли Алевтину. О Галине вообще речь не шла. Ее, конечно, жальче других — пропадет без опеки, кто, кроме Веньки, станет ее переписывать? Кого бы еще взяла, так это Идею, но надо повременить, а то скажут, что обескровила многотиражку. Как она билась в свое время, чтобы называться не многотиражкой, а малоформатной газетой, что и соответствовало истине. И как быстро все переключилось...

Являлись с визитами люди, которые раньше едва с ней здоровались. Пришли из «Знамени» ответственный секретарь и замредактора, она их не звала — пришли сами. Эти даже не считали нужным скрывать изумление — каждый из них будто чувствовал себя лично оскорбленным, что место досталось не ему, и вот теперь, развалившись в креслах, пытались ее поучать тоном старших товарищей. Но пришли-то сами, и, хоть она сдерживалась, кивала, потупляя глаза, чтобы не выдать себя, в груди клокотало бешенство.

— Скажем, кадровый вопрос... — жевал жвачку замредактора, весь прокуренный, неопрятный, с пепельными мешками под глазами. — Конечно, тебе нужны свои люди... это, так само... — он, хрустнув кожаным креслом, повернулся к ответственному секретарю, — это понятно... Но это проще, чем заставить работать на себя старые кадры. Проще... Я это к тому, так само, что за тобой теперь следят, все следят, за каждым твоим шагом, ты теперь, как и мы, само, человек на виду. — И он снова хрустнул за поддержкой к ответсекретарю. — Поэтому наш тебе совет — избегай простых решений...

Она понимала — им надо излить свое разочарование, свой просчет. И была с ними сдержанна, корректна и холодна. Они почувствовали характер — что ж, тем лучше.

Приходили неизвестные авторы, один за другим. Одни — с жалобами, что их не печатал прежний редактор, другие — что у них есть свежие мысли о будущем газеты и «вы, как человек активный, творческий...» — ого, уже прошел слух — кто-то из прежних редакционных спрашивал елейно, согреть ли чаю, кто-то притащил кипу свежих центральных газет, пообещав доставлять

«Литературку» не утром, как всем, а с вечера, кто-то из хозяйственников прибежал с вопросом, не нужно ли что перекрасить в ее любимый цвет. «Здесь не надо, обойдусь, а в комнатах редакции не мешало бы...» — и человек, по-военному приложив к виску руку, отчеканил: «Будет сделано», — будто ему было в охотку услышать внятное распоряжение. Но стоило выйти в коридор, из всех дверей все равно смотрели незнакомые, настороженные лица, и, проходя мимо, здороваясь, думала: «С этими далеко не уедешь». Внизу — на две газеты один буфет — столкнулась с Игнатом Бурским. Поздравил ее с кислой миной. Пожалуй, только двое устраивали ее из старого состава — Мычкин Владимир Эрастович, заведомо, человек уже немолодой, и — просто пожилой Банк Яков Михайлович, ответсекретарь, при том, что они были полной противоположностью друг другу. Мычкин — энергичный, шумный, бурливый до утомления, хотя и с хитрецей, а Банк — тихий, мягкий, осторожный, в чем сам и признавался, но она сразу оценила его огромный газетный опыт, точный практический ум и необыкновенное чутье. Она сразу же про себя решила: этих не трогать, тем более что Владимир Эрастович только и ждал, чтобы указали направление, куда можно бросить свои грандиозные организаторские способности, а Яков Михайлович — она и это уловила — действительно без притворства и угодничества симпатизировал ей.

Венька, получивший отдельный кабинет, был этим скорее опечален, так как лишился привычной опоры — теперь он оставался один на один с литсотрудниками, и ему приходилось изо дня в день вести с ними борьбу за свой авторитет гениального правщика. Жору она тоже видела не часто — Жора ужаснулся количеству объектов, дела которых надо освещать, и пропадал то там, то в райкомах, горкоме, так что ей пока самой приходилось присматривать за работой отдела. Один только Борис Кадамов, к ее удивлению, чувствовал себя на месте, и, хотя в его подчинении было всего два человека, материалы, и неплохие, поступали в секретариат регулярно. Она дала ему задание разработать перспективный план на месяц и на год вперед, и он то и дело забегал к ней с предложениями одно интересней другого, и она снова стала глядеть на него, как прежде, когда он только начинал.

Она сама торопилась — хотелось, чтобы с первого же номера, подписанного ею, все — и читатели и горком — почувствовали, что пришла она, что она любит свое дело и знает, как его делать... газета — ее жизнь, ее дыхание, только газете и подвластно стремительно несущееся вперед время, с которого та снимает отпечатки на четырех своих полосах. Самое большое счастье — это когда тебе приносят свежий номер — и всё — от заголовка передовицы, набранного крупным кеглем, до последней линейки, — все это выстрадано тобой, вымерено твоим умом, твоей душой, твоим вкусом, твоим гражданским долгом, твоей человеческой гордостью. Она всю жизнь стремилась к власти, чтобы стать наконец самой собой. Власть портит только тех, кому, по существу, она не нужна. Она для того, кто знает, как сделать жизнь лучше.

Не прошло и двух недель, как ей поручили выступить на общегородской конференции по профтехобразованию — ее вопрос, один из главных вопросов ее бывшей газеты. Опыт выступлений у нее был, да и вообще ей свойствен социологический взгляд на вещи. Даже о своем, личном, она думает через общественное — привыкла рассматривать свое «я» как ячейку в сотах общества. Даже брошюрка такая у нее вышла, — «Газета в свете социологического анализа». Начинала писать вместе с Игнатом, у того в дипломной работе были интересные выкладки, но потом Бурский остыл, отошел, отказался, а она довела до ума, хотя и шуршали злые языки, что воспользовалась его данными. Но цифры — цифры она собрала бы и без него. Главное — идеи, с идеями у Игната, прямо скажем, было не густо. Вообще ее давно удивляет, что большая часть людей видят жизнь плоско, поверхностно — то ли не хотят, то ли боятся, то ли недосуг лезть в глубину. А ведь главное там, на глубине, под поверхностью. Сколько инертных людей вокруг. А она активна, и ей интересно — что там, под внешним слоем, ей привычно улавливать то, что ускользает от обыденного взора, видеть на много ходов вперед. И потом у нее чисто журналистская способность влюбляться в тему, в проблему, вживаться в нее как в свою собственную. Вот и ПТУ — вопрос вопросов. Какой должна быть рабочая смена в век научно-технической революции? Как преодолеть настроение иждивенчества у подростков? Как повысить престижность рабочих профессий? Надо начать с анализа. Они напечатают открытую анкету: кто ты, кем хочешь быть, а потом изучат ответы. Это поможет и школе и ПТУ, повлияет на методику преподавания, на круг дисциплин... Идеи, одна прекрасней другой, опережали ее перо. Забавно, что она так и не научилась печатать на машинке. Позвонила Веньке, прочла — он только кряхтел

от одобрения. И, счастливая, долго не могла уснуть — все летали, кружились над ней птицы-мысли, и все казалось, что еще можно добавить — и туда и туда, — вскакивала, в одной сорочке бежала босиком к столу по холодному полу и что-то записывала, что утром показалось ненужным. Ее выступление — семь страничек — лежало на ореховой полированной плоскости стола и было прекрасным.

В редакции она тут же отдала его перепечатать, а потом Венька зашел с машинописным текстом и кивал головой, не в силах что-либо добавить, пока она не отобрала у него... Но в тот же день ей позвонили и сказали, что вместо нее выступит Монахов, редактор «Знамени».

— Но это же мой вопрос! — чуть не зарыдала она в трубку. — Это вопрос нашей газеты!

Позвонила Саше — тот сам ничего не понимал, обещал выяснить. И только к вечеру выяснилось, что так, с подачи своих референтов, решил Первый: все-таки только пришла, не осмотрелась, конкретного опыта по данной теме не имеет. Никаких личных претензий.

Она тяжело пережила этот удар. И дело не в самолюбии, с этим бы она уж как-нибудь совладала, — но она знала, чувствовала, что только сильным, убедительным жестом можно сразу заставить поверить в себя, и вот этой первой реальной возможности ее и лишили. Разве там этого не понимают? А если понимают, почему не идут навстречу — ведь обещали же помощь. Ее выступление — простые, ясные, доходящие до сердца слова, слова заинтересованного человека, знающего, что такое социальный заказ, — и все это коту под хвост? Не выдержала, позвонила Монахову в «Знамя», их только познакомили, но она сразу взяла интонацию на равных, на «ты», хотя они были не равны, ох не равны.

— Чего-то не пойму наших начальников, — сказала как можно независимей, — то я выступаю, то, говорят, ты?

Но он промолчал, и, чтобы заткнуть неловкую паузу, она сказала:

— Я тут сделала наброски. Говорят, недурно... Могу подарить, вдруг пригодится...

— Кто говорит? — не очень-то тактично спросил он.

— М-м, говорят... — многозначительно повторила она, чувствуя, что краснеет. — Впрочем, сам понимаешь, это уже не имеет значения... Так я завезу? — Она сказала это как можно тверже, хотя уже поняла, что позвонила зря. И теперь большее, на что можно было рассчитывать, так это на его похвалу. Пусть хоть он, по крайней мере, оценит ее...

Он не сказал ни да, ни нет, и вообще, когда она завезла ему материал, его на месте не оказалось, так что свои листочки она передала секретарше, которая взглянула на нее с вызывающим любопытством. А через три дня она, сидя на конференции, слушала его выступление — оно было о том же, что и ее, но каким плоским, суконным языком, по каким набившим оскомину трафаретам... И чувствовала, что что-то проиграла и вряд ли сможет скоро отыгаться.

Саша тоже хорош. Вместо того чтобы отстаивать ее права, стал золотить пилюлю — дескать, не ее тема, а скорее даже молодежной газеты. «Хорошо, а почему тогда Монахов?» — «Ну», — протянул Саша, словно она спросила что-то неприличное. Но ее заело: «Да, почему он?» Но Саша заговорил, что вообще экономикой «Вечерка» занимается постольку-поскольку, что главное — городское хозяйство, химчистка и детские сады, весь, так сказать, соцкультбыт, разве она этого не знает? Разве ей не говорили, что это любимая газета пенсионеров, домохозяек... они-то и обеспечивают тираж. Нечего сказать, утешил. Она жаждала совсем другого.

Уверена, выступи она тогда, все сложилось бы иначе а уж Майю, Сашину жену, так точно, не взяла бы к себе, сумела бы отказать. А теперь по-прежнему нуждалась в мощной Сашиной поддержке и вынуждена была терпеть эту желчную бабу, все добродетели которой ограничивались лишь тем, что она была его женой. Так вот почему он не очень настаивал, когда Алевтина не взяла ее в многотиражку, — знал, что в будущем не сможет отказать. И в его кабинете она все выложила начистоту — и что о ее газете (она так и сказала: «О моей газете») он

теперь будет узнавать прямо в постели, и что у нее и без того дефицит пишущих перьев, и что иметь в коллективе жену своего начальника — все равно что сидеть на mine замедленного действия... Много чего она наговорила, все больше распаляясь от неумолимой логики своих аргументов.

— И вообще, почему ты с ней не разведешься?

Саша оставался невозмутим:

— Тебе по пунктам ответить?

— Желательно, — сказала она.

— Главный пункт, — сказал он, — о разводе не может быть и речи. И обсуждению это не подлежит. Следующий пункт — из постели я ничего не узнаю, у нас давно уже разные постели. А с остальным, извини, — разбирайся сама. Я свой крест несу, ты — свой.

Она вскинулась в том смысле, что не собирается помогать ему с его ношей, но он перебил ее:

— И потом — то, что ты редактор, это, между прочим, и ее заслуга. Поверь мне...

Зазвонил внутренний телефон, и он кивнул ей — это надолго. Она встала и вышла. Все было непросто, сложнее, чем ожидала. Она уже не могла действовать с прежней, привычной решительностью. Теперь и шагу не сделать, не наступив на кого-то или на что-то... А она так ненавидела компромиссы.

Карина и Славка были первыми и последними в моей жизни подчиненными. Ими надо было руководить, а я этого не умел. По сути, я отличался от них только уровнем информированности о том, что происходит в кабинете у Алевтины. Зато они гораздо лучше меня знали о том, что происходит в редакционных комнатах. Со Славкой, который в моем отделе, носившем странное название «культуры и спорта», занимался спортом, у меня сразу установились ровные независимые отношения — в спорте я ничего не смыслил и отвечал за него только формально, подписываясь в верхнем уголке Славкиных материалов, что означало их готовность для сдачи в секретариат или заместителю редактора. Да и без моей подписи Славка тащил их к Венке, у которого был на хорошем счету. Славка и в самом деле работал в охотку, с непонятной мне страстью крутясь в колесе городских, областных, а то и республиканских соревнований, турниров, чемпионатов, а когда наш городской футбол занял в первой лиге почетное третье место и все вдруг заговорили, что ему по плечу и большее, Славкина спортивная колонка приобрела как бы всесоюзную подсветку.

Я часто ловил себя на том, что вижу в нем Сеню Ва-сенко, только в омоложенном, модернизированном варианте. Такой же стремительной, правда без сбоев, была его речь, такая же неутомимая потребность в движении, и даже внешне — такой же сухой, поджарый, с уже наметившейся проплешиной. Да и пишущие о спорте авторы его, каждый день ошивавшиеся в нашем отделе, тоже были схожи между собой, хотя среди них встречались и толстые, и тонкие, и хилые, и как стальная пружина, — все они были из одной команды с необыкновенным тренером, который внушил им, что подлинные страсти, драмы, столкновения и конфликты происходят только в спорте, — оттого на остальные случаи жизни у них был один ответ: «Нет проблем».

Карина — вечная инженеру со скрипучим голоском кузнечика. Она была умна тем ядовитым умом, которому легче замечать в людях недостатки и трудней — достоинства, поэтому она почти никогда не ошибалась, но, кроме того, она была талантлива и обладала изящной, отточенной фразой, высвечивавшей пустое пространство рубрики «Человек после работы» и неровную тропу городского драмтеатра. Я всегда ее хвалил — и в отделе, тет-а-тет, и на редакционных летучках, но она все равно меня недолюбливала и ревновала к кабинету Алевтины или же кабинет Алевтины ко мне, не без оснований считая меня парвеню, то бишь выскочкой. Она была твердым орешком, и

рядом с ней я всегда чувствовал себя виноватым. Удивительно, что Славка и в малой степени не ощущал на себе ее поле то ли с отрицательным, то ли с положительным зарядом.

— Обыкновенная баба, — смеялся он, — маленькая собачка всю жизнь щенков. Почему ты ее до сих пор не...?

— Она замужем, — говорил я, после чего он начинал бешено, до кашля, хохотать. Сам он был женат третий раз.

Карина мне то нравилась, то не нравилась — она и посейчас там, в газете, строгая, маленькая, седенькая, и, судя по теперешним нашим отношениям, она простила мне мои недостатки.

Настал день, когда Алевтина объявила, что мы едем. О наших поездках здесь уже были наслышаны, и объявление было встречено с энтузиазмом, хотя и раздавались голоса, что невозможно соединить несоединимых людей.

— Алевтина Георгиевна, дорогая, — твердил свое ответственный секретарь, рискуя впасть в немилость, — я вас уважаю как человека, вижу, что вы хотите вдохнуть жизнь в нашу редакцию. Вы привели с собой неплохих, хотя, на мой, сугубо личный, взгляд, не совсем опытных людей... Но прошу вас, не спешите. Может быть, когда-нибудь мы и поедем. Но у вас пока есть враги — что-нибудь не так — и вас подставят. На моей памяти мы никогда никуда не ездили. Хотя я, как мне кажется, и знаю людей, но я бы не поручился за них в их свободное время...

— Вот с этим-то и надо раз и навсегда кончать, — сказала Алевтина. — Неужели непонятно, что все это — пережитки прошлого, прежний стиль руководства... — Нет, нет, — зашагала она по кабинету, — все надо менять, все, все...

— Смотрите, — сказал Яков Михайлович, — это только моя точка зрения.

А Мычкин, наоборот, поддержал, загорелся, закрутился, выдвинул вовсе безумную идею мотануть по всему Золотому кольцу.

Она поморщилась:

— Деньги, где мы найдем деньги?

— Делаем встречу редакции с читателями, — бурлил он, — выступают авторы, артисты... вход платный.

— Это подсудное дело, Владимир Эрастович...

— Эх! — вращал он глазами, как бы разыскивая в углах ее кабинета другой, неподсудный, вариант. — А шефы? Мы выступаем у шефов абсолютно бесплатно! И они абсолютно бесплатно выделяют нам автотранспорт...

Все-таки удивительная у человека способность — каждый день изобретать велосипед и кричать: «Эврика!» Сложнее оказалось с другим: все упорно цеплялись за своих жен и мужей.

— Что это вы за богадельню разводите?! — шумела она на того же Мычкина. — Поездка — продолжение нашей работы...

— У меня такая жена! — лукаво улыбался, будто радовался за жену, Мычкин. — Бой-баба! Она без меня никуда. И я без нее...

— Я вам сочувствую, — холодно сказала она.

Дошло до того, что одна из жен позвонила ей домой, устроила скандал — мол, раз своего мужика нету, так за чужих взялась. Неожиданно и наверху не поддержали — туда был звонок... Советовали подождать, пока коллектив не окрепнет. Как будто он мог окрепнуть без ее усилий, сам по себе.

Поиск хороших авторов — это тоже была проблема. Выяснилось, что в городе мало кто хорошо пишет. Да и свои, проверенные, буксовали. Снова не получился материал, заказанный Идею, и Алевтина с Венькой с трудом вытащили его на приемлемый уровень, но на летучке очерк был охаян; Елена тоже не порадовала — казалось бы, у этой нет психологического барьера, а все равно — чувствовался напряг и еще — желание понравиться... Так вдруг открылось, что в прежней газете они печатали все, что ни попадя, лишь бы забить полосы. Тут был другой масштаб, другие критерии, тут была конкуренция хорошего с лучшим.

Позвонила Николаю Селиверстову, когда-то начинавшему в их многотиражке, а теперь члену Союза писателей, одному из шестерых, составлявших местное писательское отделение.

— Я знал, что рано или поздно ты позвонишь! — заорал он в трубку.

— Только не думай, что без тебя мы зачехли. Но если хочешь, приходи, поговорим.

Пришел — старый, облезлый, но самоуверенный. Роман в Москве вышел, второй дописывает. Не читала? Не читала. А раз не читала, могла относиться к нему так, как считала нужным. Тоже мне, писатель. Было бы время, сама бы написала роман. Вот Толстой — писатель. Чехов, Бунин... И не были никакими членами. («Вообще-то ты права».) А дальше выяснилось, что не так уж все и прекрасно. Скорее даже — хуже некуда. Роман вышел четыре года назад. А жрать надо каждый день. За прошлый год среднемесячный гонорар — пятьдесят три рубля. У других примерно столько же. Поэтому сбрасывает снег с крыш, вагоны разгружает.

— Зато ближе к жизни, — съязвила она.

— И к смерти, — сказал он.

Заказала ему публицистику — о труде как нравственной потребности. Неделю сочинял, звонил — советовался. А принес не бог весть что — общие места, приправленные собственной биографией. Подумалось: писатель тот же журналист, только пишущий о себе. Дала ему урок русского языка — со всем согласился: «Алечка, спасибо!» Но больше не пришел. Нет, лучше иметь дело со своим братом журналистом, он понятливей, знает, что нужно.

Вдруг объявился, прямо с улицы, какой-то самородок — Утямышев. Крепенький, беспокойный, с красновато-почернелым, как у сталевара, лицом. Оказалось, и был сталеваром, да бросил, мотался по стране, работал в «Магаданской правде». Борис зацепил, привел, рекомендовал, сказал про два его «потрясающих рассказа», правда, не для газеты. Читать не стала, но дала на пробу задание — очерк о знатном сталеваре. Вскоре принес — прочла и ахнула, — вот как надо писать: каждое слово емко, красочно, многозначно, и не тесно им друг с другом, и все видно — и производство, и человек, и движения его душевные. И название хорошее — «Серебряный ручей». Напечатали, признали лучшим материалом недели, уже собиралась в штат взять, а Утямышев пропал — выяснилось: запил. Ох, богата земля наша талантами, немало их в эту землю позарыто.

Идею она в конце концов взяла. Обещала и Елене — и та терпеливо ждала, вкалывая и за редактора, и за ответственного секретаря... Замену ей было найти куда труднее. Но тихую, добродетельную Идею в газете почему-то невзлюбили, особенно когда выполз наружу конфликт из-за авторских строчек, — Идею весь самотек почему-то записывала на себя, а свою сотрудницу заставляла «бегать на охоту». Считалось, что нормально, что та помоложе, но та стала в позу, у нее-де, двое детей, которые, между прочим, тоже болеют, разбирались и профгруппа, и партбюро, и если бы не Алевтинино вмешательство, у Идеи был бы бледный вид. Сотрудница оказалась с характером и швырнула на стол заявление. Пришлось подписать, но и устроить на работу, в бывшую свою газету, с прибавкой в окладе, хотя элементарного «спасибо» так от нее и не услышала.

Из управления милиции попросили — нужна помощь газеты для наведения порядка в городе. Придумали с Венькой молодежные патрули нравственности, чтобы очистить улицы от длинноволосиков, от широченных брюк с колокольчиками. Но команды ребят переусердствовали — взялись сами обрезать космы, отрывать побрякушки, — не обошлось и без рукоприкладства,

посыпались письма, и следователь нашел в действиях патрулей нарушение законности. Так что рубрику «Они мешают нам жить» пришлось на время снять, и в горьком еще получила нагоняй.

Бывала там чуть не каждый день, и все-таки случались проколы — то нужную фамилию забыли упомянуть, то важную городскую информацию упустили, то поставили с телетайпа не то, что полагалось по рангу, а однажды дали на первой полосе портрет передовика, а на него в горьком жалоба от жены — бросил, дома не ночует, живет с молодой. Даже на заводе не знали. Хотелось как лучше, а нареканий не убавлялось.

Летучки стали какими-то нервными. Профессиональнее других обзирал номера Борис, но его-то объективная критика и вывела из себя Майю, хотя той пора бы догадаться, что работа в газете ей не по зубам, сама Алевтина не могла сказать Майе напрямую то, что говорил Борис, но была с ним целиком и полностью согласна, испытывая злорадное чувство удовлетворения, когда тот раскладывал по полочкам, что именно у Майи не получилось. Подзаговорила его — ты там поострее, невзирая на лица, понял?

Вообще Боря Кадамов стал пай-мальчиком. Приручила-таки. Понимал, что обязан ей всем. Летучки она считала школой мастерства, и Боря тут был незаменим. Вот почему удивилась, когда перебежавший из «Знамени» Кончеев — потому и взяла, что сам попросился, значит, у нее лучше, — когда он сказал:

— Алевтина Георгиевна, у нас тоже все началось с летучек...

— Что все?

— Раскол.

Ага. Монахов не смог сплотить редакцию, там уже давно расслоились по группкам, по кабинетам. Похоже, его это вполне устраивало — он то с теми, то с этими, а в общем — царь и бог, и никто его не подсидит. Известная тактика, но тоже себя изжившая. Пусть его шокирует ее демократизм, ее обеды вместе с сотрудниками в редакционном буфете, сам-то он ездил обедать в столовую горькома — у нее другой принцип. Надо быть открытой, равной, и все сами к тебе потянутся. Этот принцип еще никогда ее не подводил, хотя бывали срывы, если кто-то не выдерживал груза товарищеской доверительности.

— Раскол? — Она не смогла отказать себе в удовольствии повторить это слово. — У нас все по-другому.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво покачал головой Кончеев.

Славный он малый, этот Кончеев. Живет даже не в городе — в деревне — свой огород, сад. Потому так хорошо и знает село. И добр как-то старозаветно, по-деревенски... Нагрять бы к нему всей редакцией, скажем, на яблоки... Часто выводывала у него — а как там, в той редакции, и он чистосердечно выкладывал. Похоже, мучило его, что ушел, будто вину чувствовал. Но здесь ему явно лучше. Здесь атмосфера поинтеллигентней, сам признал. Только вот летучки — нельзя так, Алевтина Георгиевна. Голая правда людей обижает. Надо пообходительней, поаккуратней. Даже скотина доброе слово любит. Ну уж нет — каждому по способностям, по труду. Ее прежний принцип — «важно, какой ты человек» — здесь не вполне годился. Ну что ж, они выросли, и она вместе с ними — больше понимает, дальше видит.

И тут снова Саша помог: готовили документы на представление ведущей актрисы театра Короткиной к званию, и Первый его попросил, чтобы был материал, чем скорее, тем лучше.

— Послезавтра! Устраивает? — Сердце у нее заколотилось.

— Это было бы очень хорошо.

Боря — быстро и на должном уровне мог сделать только Борис. Хорошее у него все-таки лицо, как говорил Венька, — «обезображенное мыслью».

— Нет, — сказал Кадамов, — если я сам напишу, это скучно, это было сто раз. Давай сделаем беседу. Не с ней, а о ней. Пусть поспорят два-три человека. Сейчас это модно.

— Надеюсь, с положительными выводами?

— Естественно.

— Что ж, попробуй... А если не успеешь? Завтра до шести вечера материал должен быть у меня на столе.

И он успел. С утра собрались втроем — актер из театра, начинавший вместе с Короткиной, местная критикесса, беседу вел Борис. После обеда он сел за расшифровку своих каракулей и ровно в шесть вошел с шестью страничками прекрасного, живого разговора, иногда переходившего в спор, с живыми мыслями и четкой, постоянно угадываемой сверхзадачей, — рабочая тема в театре настойчиво овладевает и сценической площадкой, и зрительным залом, и в этом немалая заслуга самой актрисы. В порыве вдохновения и благодарности Алевтина на глазах у Бориса перечеркнула его пресное название «Необходимость поступка» и написала сверху своим летящим почерком: «Здравствуйте, Анна Петровна!»

Саша позвонил сам, сказал, что ему в общем понравилось, и что номер на столе у Первого, но тот еще не читал — проводит совещание. Редакция опустела, даже Веньку она прогнала домой, а сама осталась ждать. Хоть предупредила, что сама позвонит, но Венька не выдержал:

— Ну как, нет?

— Пока нет.

Саша позвонил уже в девятом часу:

— Ну, Аля! — протянул он, словно сам наконец проникся материалом. — Нет слов.

— Что? Говори, что? Понравилось?

— Полное одобрение! Слышишь, полное!

— Были конкретные слова?

— Были.

— Ну не томи.

— Может, не по телефону?

— Я не выдержу.

— Ну ладно... Что свежий взгляд. Что не только частный случай, но и общее направление. Что оперативно. Что газета обретает собственное лицо.

— Саша, дорогой... — ей было трудно говорить.

— Тебе спасибо, Аля. От отдела и от меня лично спасибо.

Но главное — на городском активе Первый сам повторил эти слова. В зале в ее сторону оборачивались, поздравляли шепотом, а Первый вроде даже отыскал ее глазами. Беседа стала лучшим материалом и недели и месяца, Борис получил премию, приказом она объявила ему благодарность, даже Майя, не терпевшая его, на время притихла. А Кончеев сказал: «Это высший пилотаж, Алевтина Георгиевна». Кончееву можно было верить. Вряд ли Борис догадывался, что он сделал — подарил ей год уверенности в судьбе.

Нежданный визит — Цацко, муж Елены, собственной персоной. Толстая кожаная куртка, руки загрубевшие — полное перевоплощение. Сел — нога на ногу — и уста-вился на нее своими

прозрачными раздевающими глазами. Виктора она немного побаивалась, считала умницей, хотя, судя по раскладу судеб, ее собственный ум был предпочтительней.

— Какая-нибудь проблема? — спросила она, хотя уже научилась ждать, пока человек сам не раскроет рот.

— Есть проблемы, — сказал он и поменял позу.

— Хочешь ко мне? — вычислила она.

— Предположим.

— Что-нибудь случилось?

— Роман зарубили.

— Что значит — «зарубили»? Издательств много.

— Издательств много, а установка одна. Нужен хотя бы один положительный герой. А у меня мошенник на мошеннике. В общем — сатира. Нет, я не писатель, я фельетонист. Кто же выдержит фельетон на триста страниц?

— Напиши еще одну линию... Напиши про себя...

— Почему это я решил, что то, что нельзя в газете, можно в книге?

— Виктор... я всегда считала тебя самым умным человеком в нашем городе...

Мгновенно пронеслось — надо посоветоваться с Сашей. А Елена? Редакция не может взять супругов. Перед Еленой больше обязательств.

— Я обещала взять Елену, — сказала она

— Знаю. Елена подождет.

— Ты сказал ей, что хочешь ко мне?

— Я сказал: Елена подождет.

Вот как... Конечно, иметь такое перо — тираж газеты сразу подскочит. И вдруг кожей почувствовала, как неуютно с ним. Таким он и будет, начнет диктовать, гнуть свое. Опять неприятности. Значит, Монахов не зря... И решила — нет, не возьмет. Сошлется на мнение сверху. Правда, у него везде знакомые. Проверит. Нет — не сможет проверить. Но отказать ему в лицо — на это не хватит духу.

— Что ж, интересное предложение, — и встала из-за стола. Он тоже поднялся. — Я должна подумать, все взвесить... — Никогда так не говорила. — Для газеты большая честь, только, сам понимаешь, я должна...

— Понимаю, — перебил он, ни разу не оторвав от нее взгляда. Казалось, он прочел ее мысли, и страх прошел у нее между лопаток, как ток. — Когда ответ?

— Послезавтра, — наобум сказала она, Только бы выиграть время, что-нибудь придумать. — Я сама тебе позвоню. Спасибо, что зашел. Очень интересное предложение, Лене привет.

Он кивнул и вышел, скрипя курткой. А утром рыдающий Еленин голос в трубке: «Виктор разбился... На повороте... бетонной плитой с панелевоза... насмерть». И две мысли в ней, одна за другой, как пули в яблоко: что самоубийство и она виновата, и вторая — что несчастный случай и не виновата, и облегчение. Странное такое облегчение.

Она сделала все, что могла, — дала объявление в газете, помогла машиной и деньгами, на кладбище выделили хорошее место, взяла Елену к себе домой — нельзя было ее оставлять в

пустой квартире. Хорошо, что у них не было детей. Но и тогда, и много позже о его визите к ней накануне они с Еленой ни разу не заговорили. Будто и не было ничего.

Как странно и страшно уходит человек из жизни. Все можно объяснить, все, любое преступление — только смерть необъяснима. Они продолжали жить дальше, а его больше не было, нигде, никогда — и всех его едких разговоров, его идей якобы без оглядки на авторитеты, его якобы решительных поступков, его домашней тирании, без которой Елена все равно так и не распрямилась, — его не было ни в неродившихся детях, ни в весеннем воздухе, полном блеска и запаха мокрого снега, — только однажды в библиотеке, разыскивая что-то в старых подшивках, она наткнулась на его фамилию, перечитала пару фельетонов и с удивлением отметила про себя, что их, пожалуй, можно было бы напечатать заново.

Старалась дружить с Сашиными людьми; Алябин, инструктор из его отдела стал почти своим человеком, историк, кандидат. «Чего мне за себя волноваться, — разглагольствовал, раскинувшись в кресле, — меня университет хоть сейчас возьмет. Пусть другие волнуются...» — и кивал своей тяжелой головой в сторону соседнего отдела. За это она и преисполнилась к нему симпатией. Хорошо одевался, хоть и строго, как положено, рубашки идеальные, галстуки как на подбор, и видно, что завязывает каждое утро, а не держит засаленный узел по месяцам. Жена, работа, отличная квартира в доме после капремонта — что еще надо. А тут из США вернулся — две недели по профсоюзной линии, впечатлений масса, позвала, чтобы выступил. Ведь всем интересно.

— Только не говори, что Нью-Йорк — это город контрастов.

— Ладно, — загоготал он, — хотя это так.

Поехал на ее машине, но таким боссом, да и когда она его представила, напустил на себя бог знает что. Таким она его не знала. Села рядом, чтобы не думал, что он тут главный. Ох уж эти ребята — хлебом не корми, дай покорчить из себя. Комплекс какой-то. Там — стрелой по коридору к начальнику, кто позвонит по внутреннему — рука на справочнике АТС, чтобы молниеносно найти названную фамилию, откликнуться по имени-отчеству, а тут... Все время ей приходилось — хоть междометиями — вступать в его рассказ, чтобы не очень-то задавался — она как бы первая оценивала, была как бы не совсем слушателем, а наполовину, ну, на четверть, самим рассказчиком, будто тоже то ли была в Нью-Йорке, Бостоне, Сиэтле, то ли и без того все знала. Тут Алябин стал расписывать свою одиночную прогулку по ночному городу, якобы чуть не стоившую ему жизни, — как к нему прицепился то ли наркоман, то ли сумасшедший, то ли подосланный агент ФБР, и, сидя в машине, гонял Алябина с тротуара на мостовую и обратно на тротуар, пока не удалось юркнуть в узкий проем между домами...

— Ну как? — поинтересовалась она потом у Бориса, тоном своим дав понять, что можно не церемониться. Но он сказал:

— Интересно. Особенно, как его преследовали.

— Ну, это, положим, он загнул, — усмехнулась она. — В кино посмотрел.

Короткиной дали звание народной артистки республики, театр пригласил на чествование — там и познакомилась с главным режиссером Азовским, назначенным почти одновременно с ней. Красивый, умный, московский... но она без труда завладела его вниманием, даже поспорила, хотя его постановок еще не видела. «Я вообще не театралка». — «Как это? Вы обязаны по должности». — «У меня есть помощники», — подозвала Бориса, представила его. «Так будете о нас писать?» — «Если что-нибудь хорошее, будем». — «На плохое я сам не приглашу».

Пригласил на Чехова. Опять Чехов, впрочем, вполне по-своему. Сам он называл себя режиссером традиций московского «Современника», а значит, мхатовских традиций. Знал лично Ефремова, Волчек. «А где новая драматургия? — спрашивала у него. — Где что-нибудь вроде «Анны Петровны»? Сколько можно пичкать классикой?» — «Классика бессмертна, благодаря ей мы знаем свое прошлое, это наша нравственная память». — «Все это прекрасно, но когда же вы покажете, какие мы сейчас?» — «Покажу, — сказал он, внимательно глянув на нее, — потерпите.

Я должен вернуть театру зрителей. Это задача номер один. Когда в театре пусто, значит, правда пошла в обход. Вернуть, а потом начать воспитывать своего зрителя».

— Это долгая история, — засмеялась она.

— На десять лет, — сказал он.

Чехова они похвалили, но хотелось чего-нибудь ударного. Азовский обещал постановку о послевоенных годах. «Что, пьес нет, никто не пишет пьесы?» — «Пьес — тонны, пишут кому не лень». — «И ни одной хорошей?» — «Почему же, есть кое-что».

— Я вам напишу пьесу, — сказала она.

— Попробуйте, — сказал он.

Подумалось, а почему бы и в самом деле не написать. Как они делали свою газету.

На Азовского она стала часто натекаться — то в управлении культуры, то на активе, то на телевидении, где оба оказались в жюри смотра самостоятельных заводских коллективов, — от жара софитов у нее разболелась голова, и он дал ей таблетку аспирина. «Репетируете?» — «Репетируем». — «Не забудьте пригласить».

Через три месяца Азовский позвал ее на премьеру. Она не смогла. Ходил Борис. Пришел ошеломленный: «Только теперь я понял, что такое театр». Думала, преувеличивает, но у самой встал ком в горле, когда увидела эту обжигающе знакомую ей послевоенную пору, вспомнила теткинину деревню, голод сорок шестого, хромого председателя, ругавшегося страшными словами, корову Верку, которая, казалось, все знала про их жизнь, и две тугие струйки из ее горячего вымени. Она кончала школу и была влюблена. Расчувствовался и Венька, хлебнувший горя не меньше ее.

После спектакля поднялись к Азовскому. Молчали, и говорили, и снова молчали — и смотрели друг на друга, как братья и сестры, как дети одного поколения, которое выросло, поднялось, вошло в силу и которое вот теперь принимает на свои плечи истину времени. Пижон, интеллигентик — откуда это в нем? Ведь он помоложе ее, помнить не может, гены, что ли, такие? И испытывала гордость — вот кто выходит сегодня на сцену жизни.

Азовский позвонил утром, извинился:

— Прости, я был смурной, ничего не понял. Так тебе понравилось или нет?

И она прямо в трубку расхохоталась.

В управление культуры всякий раз заглядывала без удовольствия — народ там был какой-то неуловимый, и на сей раз в отделе скучала одна Зюзина. Поинтересовалась у нее, каково мнение руководства. Та не знала, слышала разное, а сама не смотрела. «Мы хвалим», — сказала ей Алевтина. Той было все равно. Саша укатил в область. Газета с рецензией вышла, а через день разразился скандал. Оказывается, Первый был на прогоне, остался недоволен и тут же в зале схватился с Азовским — сам был председателем колхоза, сам сдавал весной хлеб, хотя сеять было нечего, но делал это по убеждению, а не по приказу уполномоченного. Получается, что власть — одно, а народ — другое? А этого не было, молодой человек, ни до войны, ни после. Если где-то и был такой частный случай, то это еще не факт искусства. Азовский, бледный, как льняной занавес, который он специально сделал к спектаклю, спросил, а украденная у Акакия Акакиевича шинель — это частный случай? Но дело было не в аргументации, и тогда он спросил, прекращать ли работу над спектаклем? «Вопрос не ко мне, — ответил Первый, — у вас есть кому решать», — и уехал. И пока все гадали, что дальше, газета и выскочила со своей рецензией. Первый усмотрел групповщину, потребовал разобраться и доложить.

Саша сидел у нее в кабинете, курил сигарету за сигаретой, она слушала его, и под сердцем был обвал.

— Как ты думаешь, что может быть?

— Выговор. Хорошо, если без занесения.

— Но за что? Прекрасная пьеса, отличный спектакль! Он же идет. Никто его не снимал.

— Пока.

— Ты сам-то видел?

— Нет.

— Так посмотри!

— Это ничего не изменит... Да, этот твой Кадамов подложил тебе свинью.

— При чем тут Кадамов? Я бы то же самое написала.

Саша мотнул головой, нервно ввинтил сигарету в пепельницу, надвинулся бледным, больным лицом:

— Вот и пиши в своем дневнике, в своих мемуарах, в письме тете, а не в газете. А то «моя газета», в «моей газете»! Нет «твоей» газеты! Ты понимаешь это?

Она смотрела на него, будто не узнавая, потом сказала:

— Я понимаю.

— Что будешь делать?

— А можно что-нибудь сделать?

— Подумай. Под лежащий камень вода не течет.

Позвонил Азовский, немного успокоил — спектакль не отменен, в «Советской культуре» со дня на день должна появиться положительная рецензия, на премьере был его московский друг...

Рецензия появилась. Но Первый, по словам Саши, даже читать не стал, и в ее душе, чуть было расслабившейся, снова все напряглось. Зюзина, естественно, не помнила того разговора — получалось самоуправство. Азовский пригласил их втроем в театр. Сидели в его кабинете — она, Венька, Борис, — пили кофе, Азовский говорил, что, если запретят, он уедет отсюда к чертовой матери, театров без главных режиссеров хватает. А куда, интересно, она уедет? И впервые шевельнулось против него: тоже мне, борец чужими руками... Ведь промолчал, что Первый был. Выходит, подставил...

— Не понимаю, зачем из театральной истории делать какую-то идеологическую акцию? — сказал Венька.

Запало. Надо, чтобы Саша повторил там, наверху, эту мысль. Если они ошиблись, то только в театральных рамках. В конце концов это дело вкуса — кому что.

Но Сашу эта отмазка не вдохновила. Алевтина тоже схватила за сигарету, хотя никогда не курила:

— Впервые не могу понять, чего от меня хотят? Я готова написать объяснительную...

— Мало.

— Я готова лично пойти и извиниться...

Он поморщился.

— Как всякий человек, — глядя на него, продолжала Алевтина, — я имею право на ошибку...

— Во! — Саша поставил в воздухе точку сигаретой. — Это ближе. Но редактор не имеет права ошибаться. А если ошибся, должен быть самокритичен.

И тут она почувствовала, что есть, есть выход...

— Саша, спасибо за совет, — сказала она.

Он отмахнулся сигаретой:

— Ты сама все прекрасно поняла.

«Как все-таки мы односторонни,— думала она, оставшись одна, — заиклены на чем-то одном. Шире надо, шире и глубже. Жизнь — такая емкая, противоречивая штука. Она диалектична, а мы догматики. Что из того, нравится мне лично или нет, — это всего лишь одна сторона медали. Газета только выигрывает, если сталкивать разные точки зрения. Взять «Анну Петровну». Там был спор? Был... А здесь? Что это мы забываем о завоеванных позициях?»

— Ну как? — серой лужицей протек в дверь Венька. За последние дни он осунулся, глаза покраснели.

— Я поняла, — твердо сказала она, положив перед собой на стол руки ладонями вниз, как делала безотчетно почти всегда в решающие минуты.

Венька замер.

— Я поняла, что мы не правы. Нас занесло. Вполне допускаю совсем другую рецензию на спектакль.

— То есть?

— Да, отрицательную. Как в «Литературке» — два мнения. Жаль, что нам это сразу не пришло в голову.

— А что... — боднул бородкой воздух Венька, и его растерянный взгляд вдруг отвердел. — Что мы, ей-богу, что ли орган театра имени Азовского и К°?

— Надо поискать, кто напишет, — сказала она.

— Позвать Бориса?

Она помедлила, не отрывая ладоней от прохладной поверхности стола:

— Нет, поищешь сам.

И еще надо провести собрание. Чтобы все гласно. Открыто критиковать других — это мы умеем. Надо учиться открыто критиковать самих себя. Позвонила Саше, тот поддержал:

— Ты мудреешь на глазах.

На собрание приехал Алябин. Лучше бы прислали кого-нибудь другого. Но он держался строго, корректно, глубоко озабоченный происшедшим. Она говорила простыми словами, простыми мыслями, но каждая была глубоко пережита — потом Майя сказала, что чересчур уж эмоционально, но это, наверное, потому, что волновалась. «У нас случилось ЧП, — сказала она, — опубликована рецензия с поспешными, невыверенными, далекими от объективности оценками. Мы легкомысленно дали вовлечь себя в чужую игру. Мы как щенки виляли хвостами перед театром, его главным режиссером, который, которые, — поправилась она, — еще сами не определили своей позиции. Нас правильно одернули, мы благодарны за критику. Случившееся послужит нам серьезным уроком».

Краем глаза она видела, что Алябин задумчиво кивает, за ним она видела Бориса — бледное, с закушенной губой лицо... Она села, щеки ее горели, немного подташнивало, но чувствовала — все правильно. В маленьком конференц-зале была гробовая тишина.

— Кто еще выступит? — спросил Венька, председатель собрания. Предполагалось, что Кадамов тоже что-то скажет, но он молчал. Венька вопросительно посмотрел на нее, глазами она подала едва заметный знак. Его выступление было не таким удачным — все, в общем, было уже сказано, что он и признал.

Алябин подвел итог. Сказал, что два года назад они хорошо начали, взяли хороший разбег, — это признак потенциальной силы и мастерства, что у них были неплохие промежуточные финиши, были определенные успехи. Но на каком-то этапе у них от этих успехов немного закружилась голова. Стали самонадеянны, решили, что все могут, потеряли чувство ответственности. И вот результат... Но он также сказал, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И что за битого двух небитых дают. И если коллектив умеет признавать свои ошибки, значит, это здоровый коллектив, в который можно верить.

Она хотела еще поговорить с ним после собрания, но он, не заходя к ней, сразу уехал.

Оказалось, многие вроде не поняли, что произошло.

— Так в чем наша ошибка, Алевтина Георгиевна? — на голубом глазу допытывался Кончеев. — Я прочел. Рецензия как рецензия. Спектакль, правда, еще не видел. Что, плохой?

— Плохой, — сказала она.

— Зачем же тогда похвалили?

Но самый неприятный разговор был с Борисом. Он спросил, когда она была сама собой, — тогда, в театре, или на собрании? Он так ничего и не понял, Боря Кадамов, не понял, что она вывела его из-под удара, что он отделался, по сути, только легким испугом, потому что она нашла в себе мужество разобраться в этой истории, отделить зерна от плевел.

Венька подыскал автора по фамилии Озеран, как оказалось, бывшего завлитчастью театра, новая постановка была ему решительно чужда, а рецензия кипела таким злобным пристрастием, что Венька раза три прошелся по ней, чтобы снять пену.

После этого Кадамов с месяц обращался к ней только по имени и отчеству и по своей инициативе в ее кабинет не заходил. Впрочем, вряд ли она могла ожидать от него чего-нибудь иного. Как был, так и остался чистоплюем.

Им простилось. Даже не указали, не поставили на вид. Уверенность, что она правильно поступила, окрыляла, а дел было не впрокорот. А тут еще юбилей ее бывшей газеты. Какой она теперь казалась ей маленькой, простенькой, простодушной, а ведь думали, что делают лучшую газету в мире... словно разглядывала альбом семейных фотографий, словно смотрела на себя: девочку в венке из ромашек, посреди луговой травы, десятиклассницу с косой, получившую за выпускное сочинение о Данко, своим любимом герое, «пять с плюсом», выпускницу отделения журналистики, с короткой челкой и сердитыми глазами, четыре года проработавшую корректором в типографии, потому что в газетах не было мест... Ее прошлое. В прошлом она знала и умела неизмеримо меньше, чем сейчас. В прошлом она видела себя слабой, некрасивой, неуклюжей, застенчивой, теряющейся от грубого слова, но она верила в добро, в дружбу, верила в себя, и за все это, пусть не слишком скоро, была вознаграждена.

Этот юбилей по праву относился и к ней. Никто, кроме нее, не отдал газете столько лет. Ее первое детище, первая любовь... как мало она понимала тогда.

Елену все же пришлось уступить, оставить в многотиражке — и денег побольше, и возможностей, она оказалась достаточно сильной, чтобы начать заново, в другой роли, по-другому, только глаза ее опустели, будто она уже вступила в ту пору, когда начинаешь двигаться под уклон. Погибший муж стал для нее чуть не культом — квартиру она превратила в

мемориальный музей его имени, все сбережения грохнула на памятник с бронзовым барельефом. Бронзовый Виктор смотрел мимо них, мимо цветов, в конец аллеи, за решетку кладбищенской ограды, где по мокрому шоссе неслись автомашины, и казалось, что он о чем-то умалчивает.

Антон стал замом, но все еще строил из себя обиженного, дескать, предали, бросили — шутка, а неприятно. Ирина уехала в Москву — от нее не было никаких вестей. Галина постарела, пожухла; вокруг подобострастно вились малознакомые молодые люди, один только Васенко был прежний: «Га! Алевтина! С нами будешь отмечать, будешь с нами?» — но она уехала после официальной части. Все-таки тяжело встречаться с собственным прошлым. С Валентиной в президиуме перекинулась парой слов.

— У тебя были неприятности?

— Не сказала бы... — уклончиво ответила ей. — Так... будни и праздники. — А потом поняла, что давно уже перестала жаловаться кому бы то ни было. У нее все хорошо. Так теперь нужно.

В квартире после ремонта стало просторно, внушительно. На кухне, в ванной комнате — мрамор, кафельная плитка. Подыскала в стиль старую мебель, отреставрировали в мастерской, на высоких окнах штофные шторы, из комиссионки бронзовая люстра, бронзовые подсвечники, приобрела пару великолепных гравюр восемнадцатого века, надписи по-французски, — что только не оседает у населения... Когда бывала свободной, собирала у себя интересных людей. Приходили Венька, Елена. Заглядывал Борис. Азовский еще дулся, но это было его личное дело. Об одном она только жалела, что уехал Саша, обрубив все концы, в том числе и тот, что связывал его с Майей, а с новым завом никак не складывалось — держал на расстоянии, тон официальный.

Все работали нормально, втянулись, только у Идеи шло как-то через пень колоду. После очередной истории пришлось даже отхаживать в клинике нервных болезней. А все из-за письма. Интересное было письмо, редкое в редакционной почте. Между прочим, из того же таксопарка, где работал Виктор Цацко. Уже год как ушла, писала женщина, вроде, можно спать спокойно, а не могу, совесть не дает — уж больно некрасиво там, не по-нашему люди живут, не по правде, а по корысти да по расчету. И речь шла о том, что в таксопарке все, от диспетчера до директора, одной веревочкой повязаны. Коррупция... Тема острая. Идея загорелась — женщина сама пришла в реакцию, два дня рассказывала о махинациях, но как это докажешь? Передали материал в прокуратуру, началось следствие, и тут они сами дали маху — опубликовали статью еще до решения суда. А затем случилось вот что — на заседании суда после выступления адвоката директор, его заместитель и главный бухгалтер — все прямо в зале были освобождены из-под стражи, а эту женщину, выступавшую в качестве свидетельницы, — тут же арестовали.

— Это был какой-то кошмар, — рассказывала Идея. — Она им: «Как же? Что вы? Мне же домой надо... У меня дела, внучка...» Никак не могла осознать. Судья у нее спрашивает: «Вы брали деньги?» — «Брала». — «Сколько брали?» — «Как принято, по рублю с выезда» — Выходит, она одна и брала, и ни с кем не делилась... Никаких следов, доказательств, все чистенькие. Никто, ни один водитель не раскололся. Никто... Тут она, уже в наручниках, повернулась к Идее, сидевшей в зале: «Что же это, Идея Ивановна? Я же к вам за правдой приходила. Где же ваша правда?»

Кто не изменился, так это Славка, — каждую неделю я вижу его физиономию на экране телевизора: он ведет спортивные новости, и, судя по его самоуверенному виду, у него по-прежнему нет проблем. Но на самом деле они были, хотя он и не любит вспоминать об этом. Я тоже не люблю, пусть даже спорт теперь мне ближе, чем раньше, и я с удовольствием слежу на экране за молодыми сильными людьми, которые умеют то, чего я никогда не умел, слежу за их выверенной пластикой, за тем, как бугрятся и опадают их тренированные мышцы, как сосредоточиваются их лица перед непомерным усилием, перед отважной попыткой отодвинуть еще дальше границу своих возможностей. А ведь и в самом деле спорт — это драматургия, то монолог, то массовка — в нем постигаешь себя и узнаешь других.

А случилось то, что наша городская футбольная команда по итогам чемпионата была близка к переходу в высшую лигу — все решал последний матч, и Славка уверял, что победа обеспечена, так как мы играли на своем поле и в предыдущей встрече были измотаны гораздо меньше, чем нынешний противник. Каково же было его потрясение, когда он увидел полусонную команду, которая, пропустив на двадцатой минуте гол, остальные семьдесят минут просто катала мяч по полю.

Ответ он получил в тот же день — итог встречи был оговорен заранее. Кому-то так было нужно по каким-то соображениям. Славка беседовал с игроками, и одни из них проболтался. Славкин отчет об игре был написан в свойственном ему профессионально-невозмутимом тоне. Даже и эта, подкожная, фраза не выбивалась из общего строя: «Впрочем, можно ли считать этот матч принципиальным, если результат его был известен заранее?» До сих пор я вижу две эти маленькие колонки, набранные полужирным петитом, хотя тогда, в материале, не прочел — был на задании, — и свою подпись поставил Венька. Как он не обратил внимания на эту фразу, не знаю. Может, он понял ее в фигуральном, как когда-то говорили, смысле. Может, кто-то позвонил в тот момент, из-за чего он и перескочил потом строчкой ниже; может, он вообще пробежал наискосок, привыкнув за эти годы, что у Славки как обычно «все в ажуре». А может, сам Славка в рискованном месте лукаво отвлек его внимание. Видно, очень уж у него накопело, если он пошел на это. В свои дела он никого не посвящал. В общем, материал проскочил без единой поправки и через Алевтину, и через корректоров, и через так называемую «свежую голову» — дежурного читчика, — и через всех остальных, кому положено читать и контролировать.

Летучка в понедельник — это был субботний номер — прошла спокойно, Кончеев, делавший обзор, был, как и я, далек от футбола и ни словом не обмолвился о Славкиной заметке. И никто из нас не знал, что тучи уже затянули небосвод, вот-вот сверкнет молния и грянет гром. «Грянуло» из того самого города-победителя, а потом из Спорткомитета; Алевтину вызвали на ковер и велели разобраться и доложить в течение двух часов.

В кабинет к Алевтине меня пригласили последним — после Веньки, Славки и Якова Михайловича, ответственного секретаря. К этому времени Алевтину было не узнать — казалось, она опухла от слез, хотя я ни разу не видел ее плачущей, в руке, которой она подпирала щеку, был носовой платок.

— Ты это читал? — кивнула на газету.

— Читал.

— Я спрашиваю, ты в материале это читал?

— Да я читал, я читал! — не своим голосом крикнул Венька. — Сколько можно повторять.

— Помолчи. Я не тебя спрашиваю, — обрезала она.

— В материале не читал, — сказал я. — Меня не было.

— Где ты был?

— В музее, на выставке,

Он был в музее, Алевтина Георгиевна, — подтвердил Яков Михайлович, — я его посылал.

— Очень жаль, — сказала она. — Заведующий обязан читать все свои материалы.

— Но это невозможно, — развел руками Яков Михайлович, — бывают ситуации.

— Повторяю: обязан, — отчеканила Алевтина и вдруг обхватила голову руками. — Что же он с нами делает?! Он подвел нас под монастырь!

— Вячеслав уже отдал мне заявление, — сказал Яков Михайлович.

— Где оно? — протянула она руку.

Яков Михайлович вынул из кармана сложенный вдвое листок. Она схватила, пробежала глазами и размашисто заполнила верхний угол, два раза жирно подчеркнув.

— С завтрашнего дня!

— Положено две недели... — робко сказал Яков Михайлович.

— С завтрашнего дня! — Она встала из-за стола. — Все свободны. — И в сторону Веньки: — А ты останься!

Славки в отделе уже не было, и, откровенно говоря, я на него не сердился. Он уже рассказал мне эту историю, и я чувствовал, что он говорит правду. Мне было жаль, что он уходит.

На следующий день, едва я пришел на работу, Алевтина вызвала меня. Рядом стоял Яков Михайлович

— Ты понимаешь, что ты тоже виноват?

— Допускаю, — сказал я.

— Я должна объявить тебе выговор. Я должна упредить удар, пойми меня правильно.

— Да, Боря, это правильный тактический ход, — мягко сказал Яков Михайлович. — Вы не обижайтесь. Алевтина Георгиевна должна доложить, что виновные наказаны. Завотделом тоже несет ответственность.

— Понимаю, — сказал я.

Вечером она позвонила мне домой.

— Борис, чтобы я объявила тебе выговор, нужна твоя объяснительная. Так положено. Напишешь?

— Хорошо, — сказал я.

— Напиши, мы сейчас приедем. Точнее так, через полчаса спускайся вниз. Я на машине.

Я понял, что она приедет с Венькой.

— Что написать? — спросил я.

— Ну... — замялась она, — сам придумай. Ни за что выговор не объявляют... Читал, не обратил внимания, допустил халатность. Что еще?..

— Но вообще-то это все правда.

— Что правда?

— Что у Славки.

— Об этом потом и отдельно.

— Могу написать, что посчитал информацию проверенной. Попади она мне, я бы, наверно, подписал. А то получается, что я раздолбай какой-то.

— В общем, пиши, что считаешь нужным. Мы едем.

Я так и написал, что посчитал информацию достоверной. Они ждали меня в машине. Был теплый вечер с мягким, пахнущим осенью ветром. На дворе было темно, а в машине светло и накурено. Но никто не курил. Я сел на сиденье рядом с водителем и повернулся к ним.

— Написал?

— Вот. — Я протянул Алевтине листок и посмотрел на Веньку. Сейчас, когда я вспоминаю тот вечер, я почему-то вижу на их месте лису Алису и кота Базилио, а на своем — Буратино, а тогда я просто отметил в них что-то согласное, договоренное между собой и, может быть, не договоренное по отношению ко мне, потому что Алевтина слишком поспешно взяла, нет, не взяла — схватила мой листок, а Венька при этом то ли сжался, то ли, наоборот, разжался, глядя на меня круглыми жалобными глазами и виновато улыбаясь. Но я его понимал и оправдывал — все втроем мы были товарищами по несчастью и втроем искали выход.

Только жена возмутилась:

— Зачем ты написал то, чего нет?

— Так надо, — сказал я. — Иначе за что мне выговор лепить?

— Умник, — сказала она. — Когда ты научишься разбираться в людях? — Она недолюбливала Алевтину, и я не стал ее слушать.

Утром, на пути в редакцию, меня перехватил Славка. Был он небритый, зеленый, но хорохорился:

— Ты объяснительную написал...

— Написал.

— И что читал, и что подписал...

Я кивнул.

— Bravo! Герой! Я сделал все, чтобы тебя в этой истории не было, а ты на себе штаны рвешь. Я думал, это она — унтер-офицерская вдова, которая себя высекла. А выходит — и ты..,

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что она тебя подставила. Вместо своего Вениамина. Вся редакция это знает, кроме тебя. И теперь тебе хана. — Он обмотал вокруг шеи воображаемую веревку и дернул, вывалив язык.

— Я должен отвечать...

— Ни за что ты не должен отвечать. Понял? Отвечает исполнитель — я, Венька, Алевтина. А ты ни при чем... Зачем из меня дерьмо делаешь? Тем более я докажу. Придет время — докажу.

Алевтины еще не было — секретарша передала, что она плохо себя чувствует, задерживается. Я набрал номер телефона. Голос ее отзывался глухо, тяжело. Какой все-таки точный информатор — голос. Я справился о ее здоровье. Она ответила.

— А теперь можно начистоту? — спросил я.

— Конечно, — сказала она, но и по телефону я услышал, как она подобралась.

— Я все понял, — сказал я.

— Что ты понял? — Она обладала удивительной способностью нападать, когда другой стал бы защищаться.

— Твою игру. Твою и Веньки. Я думал, нас трое, — я ошибся,

— Что ты мелешь?! — крикнула она в трубку. — Я сейчас приеду, мы поговорим...

— Мы поговорим, — сказал я, — но уже ничего не изменится.

Да, она должна была выбирать одного из них, и выбрала Веню — иначе и быть не могло, — больного, никому не нужного Веню, у которого в жизни не было других шансов, кроме тех, что дала она. Она не могла подставить его под удар — это было бы несправедливо по отношению к нему, несчастливому, неудачливому человеку, который, в сущности, был поталантливей многих, поталантливей того же Бориса. Этот выбор она сделала давно, много лет назад, когда еще не знала Кадамова с его спесивой усмешкой, с его снобизмом, с его снисходительным отношением к газете, к тому, без чего она не могла жить. Она выбрала Веню, потому что он нуждался в помощи, в ее помощи, и был всегда благодарен за нее, а Кадамов ни в чем особенно не нуждался и ни за что особенно благодарен не был. Но она не могла сказать ему этого вслух и позвонила Мычкину, чтобы тот подготовил его до разговора с ней. Мычкин ввалился ко мне почти сразу же после моего объяснения с Алевтиной по телефону, и я понял, что по ее заданию.

— Боря, старик, признай, что ты погорячился. Алевтина стоит за тебя горой. Знаешь, что там делается? — Он кивнул на потолок. — Она вчера в голос орала, что ты не виноват.

— С чего бы это?

— А с того, что там требуют твоего увольнения.

— Но если на то пошло, я действительно не виноват.

— Э, старик... — похлопал он меня по плечу, — это ты рассказывай кому-нибудь другому. Если без тебя перевели твою стрелку, все равно голову снимут с тебя.

Затем пришел Жора. Постоял рядом, повздыхал, стал говорить, не глядя, перебирая на столе листки календаря, карандаши и шариковые ручки с высохшей пастой:

— Боря, как другу скажу. Тебе только одно может помочь: кайся, кайся и кайся. Тогда, помнишь, на собрании ты сделал очень большую ошибку, что промолчал. Вот и аукнулось...

...Хотят уволить. Мне стало не тяжело и не страшно — мне стало тошно.

— Ты, видно, плохо понимаешь, что происходит, — ринулась в атаку приехавшая Алевтина. — Дело серьезней, чем мы предполагали. И почему ты решил, что тебя кто-то подставляет? Ты осознаешь свою ответственность? Когда на заводе пожар, а директор в отпуске, кто отвечает? Директор. Даже если ты не читал и не подписывал, это не освобождает от ответственности. И я буду отвечать — все мы отвечаем...

Тогда у меня в голове крутилась одна и та же мысль — что если бы мы вдвоем решили, что я беру на себя вину, я бы это проглотил. Или пусть бы Венька подошел и извинился — я бы понял. Мне хотелось утонуть героем, но Венька прятался, а Алевтина делала вид, что спасает. Вот от чего было тошно — что отдают на заклятие, не благословив и не пожав дружески руку.

А она действительно еще пыталась его спасти — настаивали на увольнении по статье.

— Но он не виноват! — кричала она. — Он не читал!

— Но кто-то читал?

— Никто не читал!

— Значит, он еще и лжет в объяснительной. Вот за это пусть и отвечает. И тебе выговор — чтобы читала все сама.

— Всё, Кадамова увольняют, — приехав в редакцию, сказала она Якову Михайловичу. У Вени случился сердечный приступ, и он сидел дома. Ей самой бы надо было взять больничный. Все время нестерпимо болела голова, руки тряслись, и она вынуждена была их прятать.

— Как? — оторопел Яков Михайлович. — Мы же объявили выговор. За одну провинность два раза не наказывают.

— Выговор не проходит. Требуют уволить по статье.

— Но это невозможно, Алевтина Георгиевна! — вдруг высоким, почти юношеским голосом воскликнул этот тихий, осторожный, выдавший виды человек.

— Я больше ничего не могу сделать, — сказала она.

— Это невозможно, — повторил он. — Речь не только о Кадамове, но и о вас как руководителя. Если вы уступите его, вы потеряете весь свой авторитет — и здесь, в коллективе, и, представьте себе, там, наверху.

— Я сделала все, что могла...

— Вы сделали не все. И, откровенно говоря, меня удивляет, почему Вениамин Львович оказался в стороне. Почему вы так боитесь за него: все-таки заместитель редактора — это фигура. Больше, чем выговор, не дадут. Зато спасете Кадамова и, главное, честь мундира.

— Вот что, — сказала она, — Вениамина Львовича оставьте в покое.

— Непонятно... — в стену сказал он, даже потемнев лицом. — Я могу быть свободен?

— Можете, — сухо сказала она.

Как же все они были готовы впиться в него, беззащитного Веньку, даже Яков, — всем Венька поперек горла, потому что ближе, потому что верней, чем они. Потому что каждый из них мечтал бы занять его место — но для этого у них слишком мало данных, слишком мало.

Вбежал Мычкин:

— Алевтина Георгиевна! Гениальная идея! Только выслушайте — не возражайте сразу. Добейтесь понижения в должности — это серьезное наказание. Пусть Кадамов поработает рядовым сотрудником — и ему на пользу, и человека сохраните, все-таки неплохой парень. И главное — не оставляйте его в отделе культуры. Переведите в мой. Пусть посидит на партийной тематике. Вы понимаете, какой это тонкий ход?

Она поняла, что он не прочь погреть руки на чужой беде. Чтобы Кадамов писал за него, а он бы наконец выступил в своем любимом качестве организатора-администратора — вечера встреч, буфеты, конфеты, цветы...

И все-таки она добилась того, чтобы Кадамов просто ушел, без последствий. Через год, когда бы этот кошмар забылся, она бы снова могла взять его. Он не знал, что уже уволен, явился, как всегда, на работу. Она вызвала его, поставила в известность.

— Главное, что трудовая книжка чистая, — сказала она. — Хоть оцени, чего мне это стоило.

— Я оценил, — сказал он и улыбнулся. Ей всегда нравилась его улыбка. В сущности, он был неплохим человеком.

— Я подумаю, где тебя временно устроить. Он кивнул, и она пожала ему руку. Рука у него была холодная.

Я вышел на улицу. Светило солнце, и в садике было желто от лип и красно от кленов. В чаше фонтана, наполненной ночным дождем, плавали листья. Я вдруг увидел осень, словно только явился на свет. Троллейбус довез меня до кольца, я поднялся на вал, оскальзываясь на траве.

Еще зеленые тополя тихо и празднично стояли в солнечном свете, и каждый листок вибрировал от полноты жизни. Снизу доносился сдержанный гул города, а там, вдалеке, за темными полосами распаханых полей, за пожелтевшим лесом, все так же неслышно взлетали и садились медленные серебряные птицы.

Возможно, у меня не лучшее из занятий, но должен же кто-то заниматься и историей литературы. Скажем, чтобы открыть, что жизнь в отличие от нее не знает пробелов. Через пять лет я защитился, надолго влюбившись в этого простодушного чудака Томаса Харди, который первую половину жизни писал прозу, а вторую половину — после пятидесяти — стихи, потому что за прозу били больше и он устал. Это ему принадлежит знаменитая фраза: «Если бы Галилей в стихах сказал, что Земля вертится, инквизиция оставила бы его в покое». Современники отмечали, что стихи ему удавались редко, но все же признано, что и здесь он создал десяток-другой лирических шедевров. В отличие от английских романтиков так называемой «озерной школы», он считал природу скорее не доброй, а равнодушной, как у нас Пушкин («...и равнодушная природа красотою вечною сиять»...), или даже злой, беспощадной к своим детям, а потому он отказывал ей и в красоте. Он называв себя мелиористом и утверждал — чтобы идти путями добра, надо сначала исследовать пути зла. Но с годами его взгляд смягчался, светлел — наверно, это неизбежный путь, каким идет мудрость.

Иногда, чаще для самого себя, я перевожу его стихи.

В бессонницу

Ты, звезда, высоко поднялась на востоке к рассвету —
Тонкий луч твой мне виден опять. Тополя, небосклон
исчертили гравюрою листьев и веток. —
Мне б в забвении вас рисовать! Дальний луг, от росы в
покрывале искристо-белесом, —
О, как в памяти ты повторен! Ты, погост, в
неподвижном мерцанье у тихого леса, —
Сколько выплыло дат и имен...

У окошка регистратуры мы с Алевтиной снова столкнулись.

— Как жизнь, Аля? — спросил я.

Она метнула в меня взгляд:

— Спасибо, ничего, — и, раскрыв сумочку, стала что-то бешено искать в ней.

Я подождал, пока ей поставят на бюллетене печать, и отдал свой. Она щелкнула замком и, едва кивнув мне, пошла.

Я еще раз увидел ее за стеклянной стеной — она шла по двору поликлиники к выходу, стараясь не сутулиться, но неуверенным шагом, будто знала, что я смотрю на нее, и мне вдруг показалось, что все мы, пусть каждый по-своему, виноваты перед ней.

1985 г.